

ВИКТОР
АСТАФЬЕВ



Где-то гремит война



✦ РУССКАЯ КЛАССИКА ✦

Русская классика (АСТ)

Виктор Астафьев
Где-то гремит война

«Издательство АСТ»

1958–1988

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Астафьев В. П.

Где-то гремит война / В. П. Астафьев — «Издательство АСТ»,
1958–1988 — (Русская классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-119440-6

Где-то гремит война, которая коснулась всех и каждого – и тех, кто сражается в бою, и тех, кто остался в тылу. Юноша из далекой от линии фронта деревни и его родные и близкие живут своей, казалось бы, мирной жизнью, с ее простыми радостями и горестями, – однако эхо войны и их не обходит стороной. И вроде бы был прежний – и дела, и праздники, – но что-то изменилось и уже никогда не будет так, как раньше... В этот сборник вошли повести и рассказы, написанные в ранние годы творчества писателя – «Где-то гремит война», «Суходол», «Звездопад» и другие.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-119440-6

© Астафьев В. П., 1958–1988
© Издательство АСТ, 1958–1988

Содержание

Перевал	6
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Виктор Петрович Астафьев

Где-то гремит война

© Астафьев В.П., наследники, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2019

Перевал

Светлой памяти матери моей Лидии Ильиничны

Далекий поселок

По всей стране стучали звонко топоры. Россия строилась и обновлялась. В большом сибирском городе, чуть повыше старого железнодорожного моста, на берегу Енисея, как-то разом, вдруг поднялась тощая труба с искрогасителем и начала обильно окуривать небо едучим опилочным дымом, здесь воздвигался и быстро рос деревообделочный комбинат – сокращенно ДОК. Само собой, комбинату, да еще деревообделочному, требовался и требовался лес.

И вот двинулись в таежный край, на реку Мару, плотники и срубили в разных местах по бараку для лесозаготовителей. К баракам один по одному присоединились домишки, и получились поселки.

Такой вот поселок как бы внезапно возник и утвердился возле устья речки Шипичихи. Тому, кто полюбозыгрывался бы узнать, когда именно начал свою жизнь этот рабочий поселок, надо отыскать под застрехой барака продолговатую, неровно выпиленную досщечку. На досщечке каленой проволокой выжжена секира, а под ней:

«12/VIII – 1929 года – заштрафовано».

Шипичихинские бабы так разъясняли друг другу значение этого слова:

– Запали барак с любого угла, только загодя вытащи оттуда ребятишек, и пусть он сгорит, и государство все покроет, вплоть до наперстка...

Четыре дома на высоком полуобвалившемся яру, среди них длинный барак, прогнутый, как седло, – это и есть поселок Шипичиха. Чуть в стороне, в устье речки Шипичихи, стоит еще один дом с множеством пристроек. В нем живет объездчик. Но шипичихинцы почему-то этот дом к поселку не причисляют.

Объездчик живет богато. У него есть даже граммофон, который он заводит на Новый год и на Первое мая. Чтобы не ходить далеко по ягоды, объездчик загородил растительность, какая густо населилась в устье речки. В ограду попали черемуха, несколько берез, ивняк и даже одна пихта. Все это называется садом, хотя никто ничего здесь не сажал. Среди кустарников и деревьев стоят на ножках улы, и здесь же судорожно култыхает спутанный конь, звякая боталом. Не любят в поселке хитроватого объездчика и оттого не считают его своим.

Поселок получил свое название от речки. А вот почему так именуется речка, даже ушлый объездчик толком не знает. Может быть, потому, что в устье речки, в небольшом омуте все лето колышется белая подушка пены и шипит она так, будто под ней упрятались рассерженные гусаки. А, может, зовут речку Шипичиха оттого, что по склонам гор, между которых она петляет, расселился ежистый шиповник. У сибирских цветов и трав сдержанные или уж чересчур дурманящие запахи. Но когда зацветает шиповник, серые горы становятся нарядными, и по распадам ветер кружит тучи ярких лепестков, и отовсюду наплывает густой, нездешний, дух. Такой дух, что даже ко всему привычные лесные люди умиляются, втягивают его носом. Впрочем, они не только нюхают, но и горстями собирают лепестки, наметанные между камнями, ситами вылавливают их из воды, сушат и зимой заваривают вместо чая.

Основное население Шипичихи – лесозаготовители-сезонники. Сейчас их в поселке нет. В бараке заняты всего две комнаты. В одной из них живет Тимофей Хряпов – сторож лесозаготовительного добра: веревок, саней, конской сбруи и не звонящего летом телефона. Сторожем он числится, а на самом деле контора вменила ему в обязанность: чинить сани, латать и

сшивать сбрую, сталкивать бревна, обсыхающие на берегу. Всего-то и не упомнить, что велела делать контора Тимофею Хряпову. Может, оттого он больше спит на полатах или сидит на берегу – ждет баркас с Усть-Мары. На баркасе привозят из сплавной конторы зарплату, продукты, водку, газеты, кинопередвижку и распоряжения от начальства.

Дождавшись баркаса, Тимофей Хряпов напивается, отводит душу и потом делается добрым, работающим. Он играючи ворочает бревна за целую артель, разжигает горн в дощатой маленькой кузне, гнет полозья для саней, клепают ободья, паяет кастрюли и чайники. Насвистывая, он размахивает искрящими железяками, притопывает, пугает понарошке любопытных ребятишек и... между прочим, хлопает ручищами поселковых женщин по мягкому месту. Они отругиваются и подсовывают ему разную утварь в ремонт, зная, что Хряпов теперь все может сделать.

У Тимофея Хряпова есть сын, дочка и жена. Сын его, Венька, учится в школе на Усть-Маре и приезжает домой на лето, а дочка Пашка еще мала. Она с утра и до вечера поет. Никаких песен она еще не знает. Мотив одной-единственной песни – «Как на кладбище Митрофановском» – запомнила, и все, что ей взбредет в голову, собирает под этот мотив, как под непрочную крышу.

Рядом с Хряповым живет семья охотника Павла Верстакова. В семье этой, кроме самого Верстакова, который редко бывает дома, имеется Настасья Верстакова, ее сын Митька и пасынок Илья. Настасья еще молода, но сердита и неуживчива на диво. Она ссорится с соседями и по привычке занимает у них закуску для квашни или соль, хотя часто клянется: пусть у нее ноги отсохнут, коли она соседский порог переступит.

Жизнь далекого поселка Шипичихи тиха и однообразна в летнее время, да и зимой в ней больше забот, чем веселья. В жаркие летние дни некоторые возбуждения в жизнь поселка вносят ленивые перепалки между женщинами да приплывающий раз в месяц баркас с Усть-Мары. Счет времени и событиям в летнюю пору здесь ведется от одного прибытия баркаса до другого.

В сенокос приезжают к Вербному острову, что в двух километрах ниже Шипичихи, городские косари, по слухам – студенты, и тогда живет веселей. Поселковых ребятишек в это время не загонишь домой. Они пропадают у студентов и тащат для них из огородов всякий овощ, помогают приезжим граблить сено, возить копны. Бабы для порядка ругают ребятишек, а сами тоже норовят быть поближе к приезжим, зазывают их ночевать и расспрашивают про город. Горластые парни и девушки с сожженной на спине кожей охотно рассказывают о себе, о городе, о том, что творится на белом свете, или возьмутся танцевать, песни петь. Слушают шипичихинцы новые песни и запоминают их. Слушают эти песни и ночные птицы, привычные к таежной тишине, и сконфуженно помалкивают. Впитывает новые песни Илька. Мотив он схватывает быстро, а вот слова ему туго даются. Но у песни главное – мотив – так считает мальчишка и, когда очутится один в лесу или на рыбалке, поет во всю головушку песни без слов или выдумывает свои слова. На людях мальчишка совсем не поет взаправду, в полный голос, – не до песен ему.

Однако бывают вечера, когда мачеха отпускает его на рыбалку. Илька берет легкую осиновою долбленку и, толкаясь шестом, поднимается до Кабаржиного камня, верст пять от Шипичихи. Затем он пускает лодку по течению и с обоих бортов ее забрасывает на коротких удилищах лески с самодельными мушками-обманками на концах. Лодка плывет и плывет вниз по реке, бросаются на мушек стремительные хариусы. Илька снимает их с крючка и швыряет в кормовой отсек лодки, а сам поет, и голос его, неприглаженный, диковатый, разрезает таежную тишь, острым ножиком вонзается в вершины скал, из которых искрами высекается эхо.

Особенно любит Илька «Александровский централ» и «Отец мой был природный пахарь», а нынче вот услышал, как студенты пели бодрую песню, под которую ноги вроде бы сами ходят: «Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река...»

Но не успел Илька запомнить песню. Недолго побыли студенты. Без них Шипичиха стала еще малолюдней и заброшенной. И мачеха снова затевала ссоры. Она хотя и молодая, но самая лютая на ругань. Соседка Хряпова да и другие женщины уже и не связываются с ней, зная ее прилипчивый и дикий нрав. Внутри Насти все кипит. Поругаться ей необходимо с кем угодно, хоть с пасынком Илькой, лишь бы отвести душу.

Бой с кровопролитием

Настя мыла пол, Илька качал зыбку. В зыбке сучил ногами и выгибался дугой Митька. Спать ему не хотелось, и он развлекался как умел. Удивительно веселый и надоедливый человек этот Митька. Если он пожелает, может всю ночь не спать и никому глаз сомкнуть не даст, требуя к себе внимания. Глаза у Митьки бесоватые, нос и рот постоянно вымазаны ягодами или кашей.

Илька сидел на скамейке, дергал люльку за пеленальник, привязанный к очепу – жердине, и бросал свирепые взгляды на Митьку. Ильке хотелось на улицу, побегать, но Митька, судя по всему, не собирался скоро угомониться.

Ильку это злило, и он ворчал, с тоской поглядывая в открытое окно. Там виден кусочек светлой Мары, гора за рекой. Гранитный бок ее колыхнется темной тенью в воде. С реки доносятся крики и визг ребят. Ишь ведь, развеселились! Небось ползают, как лягушки, возле бережка, изображая из себя пловцов, и радехоньки. Ильке бы сейчас искупаться, он уж поплыл так поплыл бы, хоть по-собачьи, хоть на спине, хоть по-бабьи – это когда брызг много. Мачеха сегодня что-то еле двигается. Пошевеливалась бы попроворней, что ли! Вымоет пол, отпустит, пожалуй, Ильку поиграть. А не отпустит добром, он начнет ходить по мытым половицам, нарочно наследит, и она все равно его выгонит.

Чтобы дела у мачехи шли побыстрее, Илька одной рукой колотит молотком по камню, лежащему на скамье. Камень рассыпался на крошки – дресву. В эти крошки мачеха макала голик, будто пучок лука в крупную, хрушку соль, азартно терла некрашенный пол. Темные волосы мачехи осыпались на глаза, она подбирала их запястьем руки, распрямлялась, хрустя поясницей, и сюсюкала, умильно глядя на голозадого Митьку:

– Мой холе-осенький! Мой цюма-а-азенький!..

Митька зря времени не теряет. Он запускает пухленькие пальцы в волосы матери, и она сначала похихикивает, упрашивает отпустить ее, потому что руки у нее грязные и высвободить волосы ей нельзя. Но Митька с каким-то диковатым наслаждением терзает длинные волосы матери.

– Ой-ю-юй! – завопила она. – Отыми, не видишь, что ли?

Илька с сердцем отдергивает Митькины руки и донольнехонько ухмыляется, заметив в горстях у малыша ключья волос. Мачеха шлепает за это Митьку мокрой рукой по голым ягодицам. Он заходится в плаче.

Вот вечно так: сначала лезет к парню, потом шлепает его. И попробуй успокой теперь Митьку. Он тоже имеет характер и станет сейчас капризничать полдня, требовать чего-то на непонятном своем языке и отвергать все, что ему подадут.

Кипит все внутри у Ильки. Он зыбает люльку и старается перекрычать Митьку:

Баю-баюшки-баю,
Тимофей живет с краю,
Тимофей живет с краю
С Тимофеихою.

– Тише дергай, вывалишь ребенка!

– Не вывалю, не первый день! – Илька невозмутимо цыркает слюной сквозь зубы. Настя угадывает вызов.

– Я говорю, тише качай!

– Я и так тихо, чего тебе еще? – огрызается Илька и качает люльку шибче.

Митька прибавляет голосу.

– Ты у меня поговори!

– И поговорю!

– Поговори, поговори!

– Поговорю!

Мачеха возвышает голос. Паренек делает свое дело, помалкивает, но при этом ехидно носом пошмыгивает либо передернет плечами, а то заведет глаза к потолку и ядовито ухмыляется.

За всем этим кроется ехидный умысел – побесить мачеху.

Ну вот хотя бы этот взгляд в потолок. Что он может обозначать?

Для постороннего человека ровным счетом ничего, а отец Ильки уверяет: если она, Настя, заводит скандал, значит, луна в это время на ущербе.

Мачеха сразу доходит до полного накала, обзывает пасынка, как ей только хочется, и обнаруживает, что Илька сохраняет невозмутимый вид. Лишь в сощуренных глазах его видна немальчишеская ненависть. Когда Настя замечает в глазах пасынка этот острый блеск, ей видится узкий охотничий нож, и она, холодея, думает, что Илька когда-нибудь зарежет ее. Но мачеха и виду не подает, что боится его. Ей хочется, чтобы Илька огрызался, чтобы в доме был шум, гром, тарарам, после которого она выплчется, ее охватит усталость, и наступит недолговременное затишье.

Она знает, как этого можно достичь, и перекидывается на покойную мать Ильки, на его дедушку и бабушку, называет их зобатыми.

Илька сразу же утратил насмешливость, открыл рот, схватился за горло.

– Зобатые, да уж конечно, получше тебя! – задушенно крикнул он.

Этого вот только и не доставало.

Мачеха затрясла головой, запричитала. Она-то обшивает, обмывает его, она-то недоедает, недопивает, все ему, а он ей вот какие благодарствия! Илька пытался слово вставить, да куда там – никакой щелочки не оставляла мачеха.

Митька утомился. Голос его ослаб, переплелся с причитаниями мачехи. Так вот вдвоем они и шпарили и до того разжалобили друг друга, что снова начали поднимать голос.

Но тут в стенку постучали. Это Хряповы требовали дать им покой. Удобный момент бежать Ильке на улицу, побыть там часок. Мачеха переметнется на соседей и, глядишь, постепенно утихомирится. Но засел сегодня бес в Ильку и подзуживает, подзуживает: не уходи, мол, не уходи, позли мачеху своим присутствием.

Перебрав всю его родню по косточкам, Настя заявляет в тысячу первый раз, что, как только явится перстун (такое дала она прозвище отцу) с охоты, она немедленно соберет манатки и уйдет. Куда? Зачем? Это уж ее дело. Но терпеть такую распаскудную жизнь она дальше не намерена и губить свои молодые годы в лесной дыре тоже не имеет желания.

Илька уже наперед знал, что сейчас мачеха закроет глаза, примет мечтательную позу и начнет вспоминать, как отговаривал ее один человек идти за Верстакова. И человек-то был не простой, а городской, на моторке работал. Но она, дура, шла как слепая и, хотя ныло у нее сердечко ретивое от всяких нехороших предчувствий, ничего поделывать с собой не могла. Опутали ее, околдовали. Ведь в селе Увалы живут сплошные колдуны.

Ильке давно известно: черной тенью ходит это прозвище за его односельчанами. Но ведь на каждом сибирском селе, да что на сибирском, почти на каждом русском селе, клеймом

припечатано прозвище. Про мачехиных односельчан, к примеру, говорят, будто они с похмелья изжевали гужи. Забыла она об этом? Так он ей сейчас напомним.

– Вы – гужеды! Вот!

Будь бы Настя поумней, она бы рассмеялась и внимания не обратила бы на эту мальчишескую выходку. Но Настя кровно оскорбилась, завизжала, затопала ногами, и не успел Илья занять оборонительных позиций, как она ему шмякнула по лицу грязной тряпкой. Захлебнулся Илья, взвыл от боли и обиды. В глаза попали крошки дресвы. Сплеванная грязь, он вытирал рукавом глаза и шарил рукой по скамье, отыскивая молоток.

– Попробуй ударь! Попробуй ударь! – испуганно затвердила мачеха, пятясь к двери. Она уже повернулась, чтобы юркнуть на улицу, но ее настиг молоток.

Настя сунулась носом в порог. Илья точно помнил – хотел угодить ей молотком в спину, да дернуло мачеху пригнуться, и он попал в затылок.

«Убил!» – похолодел Илья, видя, как мачеха дрыгает грязными ногами на мокром полу. Волосы на ее затылке сделались еще темнее.

Митька смолк, вытаращил глаза.

Илья стоял посреди комнаты и остолбенело глядел на кровь, расплывающуюся по шее мачехи и по мокрому полу.

Крик вытолкнулся пробкой:

– Карау-у-ул!

И подстегнул Илью. Он прыгнул на подоконник, на завалинку, в огород, скатился в густую крапиву и замер. Сердце колотилось, глаза покалывало дресвой, на зубах хрустело.

– Уби-и-ил, уби-ил! – вопила мачеха. – Ой, головушка моя!..

Илья, унимая дрожь в коленках, шепотом твердил:

– Так тебе и надо! Так тебе и надо... – И в то же время радовался, что не насмерть зашиб мачеху.

– Тяжело с неродным-то дитем жить... ох, милые, тяжело-о! – плакала и сморкалась Настя. – Сильно изувечил голову-то?

Насте кто-то вполголоса ответил, но слов Илька разобрать не мог.

Соседка Хряпова громко и гневно завела:

– Во какие детки-то славненькие пошли, во как они стараются за наши труды...

– Чижолые времена, и люди растут озверелые... – напевно подхватила мать объездчика, набожная и подозрительная старуха.

– Эк ведь он ее! Ножницы-то где? Выстричь надо волосья, кабы зараза не попала. Да не ори ты, не зевай! – прикрикнули на мачеху, тонко и боязливо скулящую.

Сбежались все бабы.

Теперь разговоров и пересудов хватит уж точно на несколько дней.

– За это шкуру мало спустить! – неистовствует Хряпиха, сразу забывшая все раздоры с мачехой.

– Бога, Бога перестали бояться, отсюда все грехи и беды мирские, – твердит свое божья старушка.

А Илья уныло думает: неплохо бы и блаженной этой залимонить камнем в башку, чтобы не каркала, все равно теперь дело пропащее.

– Ей тоже надо было смотреть, за кого замуж шла. Ума еще не нажила, а за детного выскочила... – это говорит тетка Парасковья. Женщина суровая, бывшая партизанка, раненная в лицо и оттого незамужняя. Она всегда говорит, что думает. Тетку Парасковью Илья уважает и побаивается. Она к Ильке относится с грубоватой ласковостью, а мачеху терпеть не может, называет ее подергушкой. Остальные жительницы поселка тоже не любят мачеху, перемывают ей косточки, но в случае скандала всегда принимают ее сторону и во всем винят Илью.

Видимо, Илькина непокорность, его бунт против мачехи – вызов им. Ведь они требуют от детей прежде всего покорности и безоговорочного подчинения. Сами они когда-то жили под вечным страхом наказаний. Сами сопротивлялись, как могли, родительскому гнету, да позабыли об этом.

Мир несправедлив к детям, особенно к сиротам. Это Ильке стало давно ясным и понятным. Есть, правда, люди на земле, которые могут жить с Илькой в ладу и как равные с равным. Эти люди – дедушка и бабушка. Но они далеко отсюда, за горами, за лесами, в родной деревне.

Отец Ильки – охотник. Он неделями и месяцами пропадает в лесу, добывает мясо мара-лов, лосей, коз, медведей для сплавщиков и лесозаготовителей. При отце Ильке живется легче. Мачехе есть кого точить. Она чуть ли не каждый день говорит отцу о том, что он загубил ее молодость, и о том, что ее один человек – не то моторист, не то фельдшер – сватал, а она была околдована и вышла за него, и теперь ей остается только одно удавиться или утопиться. Она жаловалась отцу на Ильку, мешая правду с выдумкой. Отец делал внушения сыну ремнем. Бил, правда, не очень больно. Но ведь нет ничего страшней напрасного наказания. Видел же мальчишка – отец лупит его для порядка, для острастки, чтобы угодить мачехе. А она становилась от этого наглей. Илька дошел до того, что вскакивал по ночам с бессмысленно вытаращенными глазами.

Так шла жизнь до нынешнего дня. Скапливалась в сердце злоба капля по капле и вот...

Илька лежал в крапиве до тех пор, пока в квартире не утихло. Даже Митька перестал звать брата. А зовет он его необыкновенно: «Ия! Ия!» Руки и ноги обожгло крапивой. Илька почесал ногу об ногу, и на голых икрах вспыхнули красные пузыри. Тогда он вылез из крапивы и поплевал на ожаленные места.

Перелез Илька через городьбу, постоял возле речки, бросил в воду плиточку и, даже блинчиков не сосчитав, медленно побрел от поселка по берегу.

Возле острова Вербного, куда приезжали косить сено шумные студенты, Илька отыскал шалаш. Просторный и сухой, покрытый толстым слоем сена. Сколько тут проживет, чем будет питаться, Илька не знал. Идти через горы к дедушке и бабушке очень далеко, и дорогу Илька не запомнил. Ехали они в Шипичиху позапрошлой зимой. Илька был закутан в доху и почти не видел дороги.

Взять в поселке лодку и поплыть вниз по реке? Илькина деревня Увалы всего в пяти километрах от устья Мары. Но впереди много перекатов, камней, есть даже пороги, через которые и опытным речникам не всегда удастся переплыть. Значит, остается одно – жить и ждать.

А чего ждать?

Одиночество

Бывают летним вечером самые тихие и торжественные минуты, когда вся природа, разомлев под солнцем и натрудившись за день, медленно-медленно погружается в сгущающиеся сумерки. Заря почти отцвела, лишь за самой высокой горой видна прозрачная полоска. Она еще бросает робкий свет на вершины деревьев, что одинокими вехами маячат у самого края света. Но это там, в недостижимой, безмолвной дали. А на реке, куда солнце заглядывает только к полудню, уже сгустились краски. Тени от прибрежных скал легли от берега до берега, соединились по-братски. Они еще не черны, а с густо-синими оттенками, отливают на быстрине блеском глухариного крыла.

Но под самым берегом, где в этот час явственней слышно бормотанье многочисленных ручейков, уже устоялась темнота. Она ползет на реку, подминает под себя сиреневый и темно-синий цвет. Запевают речные кулики, неслышно пролетающие вдоль берегов.

Из ущелий тянет холодком. Листья на деревьях не шелохнутся. Трава потеет. Если побежать сейчас по ней босиком, ноги обожжет холодом и на стороны светлыми искорками посыплются кузнечики.

Илька никуда бежать не собирался. Он сидел возле шалаша, втянув голову в плечи, подобрал под себя ноги, и слушал.

Из Шипичихи доносились охающие удары – кто-то колет дрова или колотит вальком белье, а может быть, мастерит чего-нибудь Тимофей Хряпов. Там люди, а здесь никого – один Илька. Над ним кружатся-гундосят комары. Он их не отгоняет и старается дышать по возможности тихо.

Наступил самый жуткий и оттого длинный час. Если очень длинен этот вечерний час, то как же бесконечна будет ночь?! Илька старается не думать. Чем сильнее темнеет, тем он настороженней слушает. Оказывается, даже в эти медленные, однотонные минуты существует жизнь, и она издает звуки, правда, осторожные, боязливые. Прибавляют прыти кузнечики, а может быть, дзык кузнечный слышно сейчас сильнее потому, что никто его не заглушает? Устало и мерно плещется река. Филин в лесу безнадежным голосом просит шубу, а в Шипичихе все что-то стучает, стучает. Дымком оттуда нанесло, затинькал колокольчик, зазвякало ботало – это объездчик выгнал скотину пастись.

Но вот оборвался стук в поселке, и на острове Вербном, что темнеет против шалаша, ровно бы очнувшись, крикнул коростель. Крикнул, прислушался – никакого ответа, лишь, удаляясь, позванивали колокольчик и ботало. И наплевать, решил, видно, коростель, да и завел скрипучую песню на всю ночь.

Неуверенно, точно настраиваясь на музыкальный лад, в бузине за шалашом чиликнула пичужка. Минуту она молчала, устраиваясь поудобней на веточке (и это услышал Илька); дождалась малая птица, пока разойдется коростель, и начала мерно вторить ему, как бы скрашивая девичьим голосом хрипловатую мужицкую песню.

Сделалось совсем темно. Луна еще не выплыла из-за гор. Илька не стал ее ждать, а осторожно, ползком залез в шалаш, закутал ноги в старую телогрейку, из-за дряхлости брошенную покосниками, и закрыл глаза. Сердце паренька билось вразнобой с птичьими голосами.

Шуршало потревоженное сено, похрустывало, оседало, сжималось оно, и казалось Ильке, что в шалаше есть еще кто-то.

Сердце, как ружейный курок на взводе, готово в любую секунду сорваться, оно отзывается на каждый шорох, на каждый пустячный звук. Вот прошуршала где-то мышка, а у Ильки все внутри оцепенело. Вот голосом лешего вскрикнула на острове выпь – у Ильки холодный пот на лбу выступил. Вот хрустнул сучок в лесу. Мало ли отчего он мог хрустнуть, а мальчишке кажется: подползает к шалашу кикимора болотная, скользкая, холодная, может, и сама нечистая сила с рогатой и зубатой рожей.

Илька стискивает зубы, сжимает кулаки, принимается считать. Считает, сбивается и снова считает, но уши ловят не счет, а то, что свершается в ночи.

Долго лежал Илька, то замирая, то шумно ворочаясь, чтобы отогнать страх. И наконец пришла такая минута, когда он почувствовал себя совершенно обессиленным, и на него напало безразличие. Тогда он, отрешившись от всего на свете, пошевелил одеревенелыми ногами, подумал: будь что будет, свернулся в клубочек и не заметил, как уснул.

Или оттого, что мальчишка сильно устал и переволновался, или от постоянных недосыпов, а может быть, и от густого запаха сена, туманящего мозги, спал Илька крепко и проснулся поздно.

Проснулся и удивился тому, что вечером он дрожал от страха.

Мир вокруг светлый, приветливый, многоголосый. Отава на покосе, деревья, кусты на острове покрылись задумчивою сединой. И по этой седине россыпью перекатывались искры. В лесу пересвистывались рябчики. Сварливо крикнула ронжа возле шалаша, а потом пружинисто

подскакала к огневищу, поглядела на Ильку – с ружьем или нет. И принялась искать что-то в холодной золе.

Илька крикнул, ронжа нехотя взлетела. Вскочил тогда мальчишка, пробежал по отаве, и за ним размотались две извилистые ярко-зеленые полосы. Илька забежал в мелкую протоку, отделявшую остров от берега, и после жгучей росы вода показалась ему бархатисто-мягкой и теплой. Он поплескал себе на лицо, потом попил из ладоней и побрел на остров. В одном месте споткнулся и замочил закатанные выше колен штаны. Немножко постоял, огляделся, вдыхая полной грудью влажный воздух, и сказал:

– Славно-то как!

Солнце начинало пригревать. От земли поднимался парок. Ветви берез, ольхи, тальника и даже всегда шумливого осинника недвижно висели над протокой. С листьев скатывались капли росы и мелкой галькой булькали в воде. На шум устремлялись всегда голодные малявки, суетливо искали упавший в воду корм. Илька улыбнулся, бросил малым рыбкам хлебные крошки, обнаруженные в карманах, и, не подбирая штанин, побрел дальше.

Остров Вербный невелик. Со середины протоки виден тот и другой конец его. Растительность на острове мелкая, но до того густая, что литовки не протащишь. Космы ольховника и верб возвышаются над островом. А внизу стелются, выискивая себе щели, отвоевывают махонькие пятачки земли всевозможные кустарники. Здесь и красноватые лозы узколиста, и настырные колючки всюду приспособляющегося малинника, и переплетение волчьих ягод, и коричневые побеги черемушника. Но гуще всего разросся здесь тальник со сладкими на вкус молодыми вершинками и смородинник. Лишь местами сквозь пучки духовитого смородинника сумели пробиться пырей, метлига, крапива и запашистый лабазник. Ягод на острове хоть лопатой гребь, но только смородина и черемуха. Малинник здесь бесплоден. Ему не хватает солнца. Зато смородинник весь в черных, будто чугунных, каплях.

Илька мимоходом срывал смородину с кустов и сыпал в рот. Сладко!

Хлебца бы еще кусочек и с хлебом ягоду-то. Но хлеба нет, и где его взять? А есть хочется. Надо картошки накопать. Картошка – тот же хлеб. Конечно, не совсем хлеб, но все же сытная штука. В голодный тридцать третий год на одной картошке жил с бабушкой и дедушкой. Ничего. Тошнит, правда, иной раз, но ничего. Ранней весной, как только вытаяли из-под снега склоны увалов, Илька выкапывал маслянистые луковицы саранок. Когда трава зазеленела, ели крапиву, дикую редьку и пучки – их еще купырями или пиканами называют. Бабушка где-то брала кусочки овсяного хлеба или стряпала лепешки из рассыпчатого, неободранного проса. Вкусно было.

Некоторые ребятишки умерли в тот год. А Илька выжил. Да и как не выжить? Бабушка не даст умереть. Она, бабушка, сама не съест – Ильке отдаст. И зачем только отец вернулся? Тогда и мачехи не было бы, и жил бы Илька с бабушкой и дедушкой и ни в какую Шипичиху не уехал. К чему ехать в такую даль, где даже школы нет.

Живы ли хоть бабушка с дедушкой?

Должно быть, живы. Нельзя им умирать. Без них Ильке совсем худо будет. Их вот нет здесь, а Илька знает, что они все равно есть на свете, что они думают о нем, и оттого уже не так ему одиноко.

Ломится мальчишка сквозь густые заросли, трещит, будто медведь, и черные ягоды сыплются к его ногам. Не хочется больше ягод. Во рту кисло, челюсти сводит.

Вспоминается Ильке школа – первый класс. Бабушка сшила Ильке сумку из своего старого передника. Нарядная получилась сумка, бордовая, с цветочками и двумя тряпичными ручками. В сумке карандаш и книжка-букварь, да еще полкалача, да еще два яичка.

В школе Илька перво-наперво смолотил калач и яйца, чтобы не думать про них, потом взялся играть с ребятишками. Ребятишки все до одного знакомые, только нарядные. Илька

тоже был нарядный. Бабушка собственноручно сшила ему штаны из юбки покойной матери, а рубаша вышла все из того же широкущего неиссякаемого бабушкиного передника.

Ух и форсил же Илька! Страсть! Играть лез в самую что ни на есть кашу.

А потом был звонок, и ребят повели в класс. Смешно называется: класс, но это вовсе не класс, это горница кулаков Платоновских, которых куда-то выселили. Дом их называли школой. Дом был как и прежде, только пустой и оттого скучный. В нем даже обои на стенах оставались те же, что были здесь прежде, и на обоях светлели пятна от икон и рамок с фотокарточками. Над тем местом, где стояла кровать, два длинных гвоздя. На этих гвоздях висело ружье. Из того ружья старик Платоновский в упор застрелил Солодарева Леонида Германовича. Солодарев Леонид Германович был ссыльным в Увалах, потом кулаков зорил. За то и пострадал.

После того как отзвенел медный звонок, снятый с рысак кулаков Платоновских, в класс пришел сын Солодарева, Федор Леонидович, в другой класс, где раньше была передняя, пришла мать Федора Леонидовича. Всю зиму вдвоем они и учили детей.

Хорошо учили. И буквы писать, и считать, и по букварю читать, и в поход водили. Хорошо было в школе.

Однажды болели у Ильки ноги, и несколько дней он не ходил в школу, так учитель сам навестил Ильку и подарил ему красный карандаш, только изредка писал им Илька и нажимал несильно. Но уже здесь, в Шипичихе, мачеха отдала карандаш баловню Митьке, и тот куда-то его зашвырнул. Э-эх, люди! Ничего им не жалко, и никакого понятия нет.

Идет Илька по острову как будто без всякой цели. Так, от нечего делать бродит и бродит человек, вспоминает прошлое жите и печалится о нем. Мимоходом Илька хватает крупные ягоды, сыплет их в карман. Зачем? Да так, между прочим.

А ноги сами ведут его на верхний конец острова. Там, если перебрести протоку и подняться на берег, поселок видать и барак видать. В бараке уже Митька проснулся и зовет его: «Ия! Ия!» Мачеха небось стряпает, носом и головой подергивает. В комнате печеным пахнет и щиплет в носу от сваренной в мундирах картошки. Картошка, она тоже ничего, если разваристая да с солью, да если еще ржаного хлеба ломоть...

Хрустят кусты, шуршит влажная трава, идет Илька, мокрый по пояс, и делает вид, будто не знает, куда идет. Он даже насвистывает громко, бодро, как вольный, не обремененный никакими заботами человек. И когда выходит на приверху острова, удивляется:

– Скажи ты, куда меня вынесло!

А раз уж вынесло и поселок видно, как-то неловко не заглянуть в него.

Низами, прячась за густыми зарослями крапивы, репейника и белены, стеной ставшими возле жердей, Илька крадется к барaku.

Вот огород, который ему нужен.

Упал мальчишка в борозду, лежит. Голову от земли чуть приподнял, прислушался, огляделся. Рядом огурец с гряды вывалился собачьим языком ярко-желтый, перезрелый. Мачеха не снимает огурцы на засолку – некогда: с соседями грызется.

Илька смотрит в окно. Оно распахнуто настежь. Видно, как пыль столбится в комнате, а больше ничего не видно. На окне герань и бабы сплетни. Это цветок так называется. Он вьется и переплетается клейкими листьями, цепляясь за все, что подвернется. Загородили эти бабы сплетни все от Ильки. Он ползет вперед. Возле завалинки барака в гнилом щепье растет мелкий конопляник и кустится лебеда. Меж двумя окнами – Хряповых и Верстаковых – заросли особенно густы. Илька залез в конопляник, вспугнул оттуда мухоловку и шмеля.

Навалившись на соседний подоконник, сидела Пашка Хряпова. Подперла голову руками и тоненьким голоском выводила: «Милый Колечка, я белеменна и хочу тебе это сказать...» Из-за великого пристрастия к сладкому Пашку облепила золотуха. Волосы обстригли ножницами, обходя болячки, и оттого голова Пашки похожа на плохо оперившуюся голову утенка. Широкий нос делал ее еще более схожей с утенком.

Илька улыбнулся и пополз к своему окну.

Прислушался.

Доносится громкий рокот, шлепает вода. Мачеха белье стирает! Значит, полоскать скоро пойдет.

«Толково!»

Митька ноет: «Ма-а... ма-а... ма-а-а...»

«Паскуда мачеха не накормила небось парня».

Но вот слышится раздраженное:

– Жри!

И на время все затихает.

И наконец-то:

– Ну, бай-бай, мой холёсенький, я скоро...

Митька закатывается. Не желает, чтобы мать его покидала. Он не переносит одиночества. Вот окаянный человек! Из-за него мачеха может долго не пойти полоскать. Однако слышно, как Настя звонко шлепает Митьку. Он закатывается пуще прежнего. Мачеха кричит: «Чтоб ты пропал!» – и хлопает дверью.

Настя спускается к реке с тазом, доверху наполненным бельем. Голова ее перевязана старым белым платком. На платке темное пятно засохшей крови. Настя пошмыгивает носом и в лад тому шмыганью часто моргает глазами. Натруженные еще с детства руки ее тоже суетятся. Вот так она все время подергивается, как деревянный человечек на ниточках, какого однажды привозил Ильке дедушка из города.

Мачеха приостанавливается, с сердцем хлопает себя рукой по бедру и, обернувшись, кричит в окно:

– Я те поору! Я те поору!..

Митька отвечает ей прибавкой в голосе. Илька запал в конопле, не дышит. Мелькая растоптанными, широкими пятками, мачеха исчезает за изгородью. Следом за ней, вывалив от жары язык, тащится соседская собака Лампосейка. И это Ильке на руку, никто шум не поднимет.

Не обращая ни на что внимания, Пашка продолжает песню про Колечку.

– Кряк! – Илька ждет, но Пашка ничего не слышит.

Илька кинул комок земли на подоконник. Пашка осеклась. С изумлением огляделась.

– Ты чего свыряешься?

Передние зубы у Пашки выпали, и она вместо «ш» произносит «с». Выдумщица девчонка, взяла где-то пятак с дыркой, надраила камнем и прицепила вместо брошки. На руку выше запястья привязала ленточку, нарисовала на ней кружок химическим карандашом: часы.

– Пашка! – зашептал Илька. – Мне домой надо, так ты погляди за мачехой.

– Ну, – согласилась Пашка. – Я буду громче петь, когда она пойдет. А ты зачем ее убил?

– Не твое дело! Убил, стало быть, так надо. Я ее до смерти хотел зашибить. И еще зашибу!

Думаешь, что?!

Глаза у Пашки округлились. Она испуганно отодвинулась от окна и с придыхом произнесла, схватившись за «брошку»:

– Засибес?

– Зашибу!

– Насовсем?

– Насовсем!

– Ой!

– Вот тебе и ой! Сторожи давай и не вздумай сказать, что я здесь был, а то у меня запросто... – Что «запросто», Илька не разъяснил, но по его виду Пашка заключила, что слово это ничего доброго не предвещает.

Она покорно запела все тем же тоненьким, исстрадавшимся голоском.

Илька раздвинул горшки с цветами и шмыгнул с завалинки на окно, с окна на сундук. Митька смолк и вытянул шею, а когда опознал брата, с ликованием закричал, протягивая руки: «Ия!» Но Илька настроился в беседе с Пашкой воинственно и не склонен был предаваться нежным родственным чувствам. Он мимоходом поднес кулак к сопливому носу Митьки и поинтересовался:

– Нюхал?

Митька и тому рад. Ухватился за кулак, потянул его в рот. Илька даже растерялся. А когда опомнился, выдернул руку, вытер ее о штаны.

– Не цапай! Больно зацапал! Отводился я с тобой! Хватит! Я теперь...

Кто он теперь, Илька сразу определить не мог, но, во всяком случае, он уже не тот закабаленный человек, который – водись да водись, и поиграть некогда. Нет, друг любезный, шалишь! Пусть теперь сама мачеха ночью попрыгает! Да! А у Ильки – дела!

Он с торопливостью вора шарил в ларе, в сундуке, в кладовке. Мешок на гвоздике, в нем две булки хлеба, соль в узелке и тут же ножик, сахар в мешочке. Ровно кто приготовил все это.

– Что еще? Да, удочки. – Илька выдвинул столешницу – крючки, нитки здесь.

Теперь обуться бы ему во что? Надеть разве мачехины сапоги? Не стоит. Ну ее! Сапоги одни. Надо мачехе по ягоды ходить, в огород, на речку, туда-сюда. Не стоит. Ага, пальтишко тоже следует в мешок затолкать. Что еще? Надо что-то. Очень необходимо надо, но не может мальчишка вспомнить, да и некогда прохлаждаться. Уходить пора.

– Ну что, сопленосый, подглядываешь? – повернулся Илька к Митьке, который с открытым ртом наблюдал за братом. Тот, словно бы разумея все, что творится в Илькиной душе, робко сказал: «Ия!» – и не протянул к нему руки, а лишь скорбно сморщил носишко, и глаза его наполнились слезами. У Ильки разом потяжелело на сердце. Вспомнил он, что вот надо уходить из избы, одному ночевать в шалаше, а одному-то жутко. Царапнуло в горле Ильки: – Живите!.. Да, вам хорошо!.. – И замолчал, прислушиваясь.

Ты убей ее иль в плюют отдай,
Только сделай ты все посколей...

Напевала Пашка наивную и страшную песню «Как на кладбище Митрофановском» про злую мачеху. Видимо, старалась угодить Ильке. Он потер кулаком лоб, чтобы вспомнить, но ему показалось, что Пашка запела громче. Мальчишка сунул руку в карман штанов, вынул горсть давленной смородины и высыпал ее в маленькие Митькины ладошки. Тот не запихал ягоды в рот, только пялил бесхитростные глаза.

Илька шмыгнул носом, шаркнул рукавом по глазам, губы его дрогнули:

– Вот... Ухожу я, Митька... Вам хорошо... – И неожиданно поцеловал Митьку в пухлую щечку, вымазанную соплишками, а может, и киселем.

И когда Илька выпрыгнул в окно, побежал по огороду, спустился к реке, исчез за поселком, ему все еще слышался голос Митьки: «Ия! Ия!»

На губах Илька ощущал солоноватый и чуть кислый запах теплой Митькиной щеки.

Бой без кровопролития

Все взял Илька, все предусмотрел, как человек бывалый, сизмальства привычный работать на покосе, ходить по ягоды и на рыбалку, а вот котелок забыл. Забыл, и только. Хватился, когда понадобилось похлебку варить, а котелка нет. Беда? Да нет, не большая. Напек картошки в золе, пескарей нажарил на палочке и с хлебом съел.

Житуха!

И ночевать вторую ночь не так страшно было. Устал за день, в воде бродил, когда удил пескарей, продрог и оттого уснул быстро.

Но пескари – это разве рыба? Так себе, забава! Вот хариусов Илька наудил – это рыба! Удить хариусов Илька мастер. О-о, тут уж с ним не только мальчишки, даже не все дяденьки тягаться возьмутся. Тут что главное? Момент!

Илька вечером долго ползал по траве, ловил прытких кузнечиков. Напихал их в спичечный коробок. Кабы коробок был побольше, кузнечики не подошли бы. Живые лучше. Но другого коробка нет.

Утром рыбак первым делом заглянул в коробок: два кузнечика едва передвигали лапками, а остальные и вовсе не шевелились. Один кузнечик выбрался в щелку, помятый и вялый, как с похмелья. Илька сунул его обратно в коробок и поспешил на реку.

Перебрел протоку, пересек остров и вышел на пологий обмысок, усыпанный крупным галечником, сквозь который пробивались редкие и тощие листы копытника. Из заливчика, подернутого водяной чумой, поднялся табун чирков, взметнулся и стремительно заскользил над рекой, чуть не касаясь брюшками воды.

По реке густо шел лес. Значит, сплавики, которые спускаются по Маре с зачисткой, подходят к Шипичихе.

Возле верхней стрелки острова лес застрял, бревна наползли одно на другое, сделали торос. Под бревнами вода клокотала, завихрялась.

Доброе место. Хариус любит стоять в этакой стремнине. Илька, скользя по мокрым бревнам, взобрался на торос и разматал удочки.

Кузнечика он подбросил к самому торцу крайнего бревна. Бурунчик воды завертел наживку и понес к струе. Илька стал усаживаться поудобней. В это время раздался всплеск, лесу дернуло. Илька подсек, но поздно. Кузнечика на крючке уже не было.

– Полоротый! – обругал себя Илька вполголоса, насаживая второго кузнечика на крючок. Теперь он весь напряжился. Как только из-под бревна метнулась навстречу приманке темная полоска и вода взбугрилась, резко подсек. Хариус стрельнул вглубь, однако он уже был на крючке, и, выдернув его на бревна, Илька степенно сказал: – Надул разок, и хватит! – уверенный в том, что именно эта рыбина сорвала первого кузнечика.

Клев был слабый. Гул бревен, которые сшибались друг с другом, отпугивал рыбу. Но все-таки на уху Илька натаскал.

Когда высоко поднялось солнце, навалились ельцы и пескари. Илька быстро скормил им кузнечиков и уже собрался было идти на стан, да услышал, что на острове перекликаются мальчишки. «По смородину пришли», – заключил Илька и, прихватив ивовый прут, на который ловко были вздеты рыбины, начал неслышно пробираться на голоса, чтобы разведать – одни мальчишки пришли или же со старшими.

Мальчишки были одни. Они топтали смородинник и уплетали за обе щеки до блеска налитую ягоду. Афонька, сын объездчика, обшаривал кусты жадными и быстрыми руками, бросал ягоды в старый жестяной котелок. Остальные были с корзинками и тuesками. Илька вынырнул из кустов и насмешливо поклонился:

– Здоровы были!

Мальчишки, не отозвавшись на приветствие, с опаской поглядывали на него. Был он для них сейчас чем-то вроде лесного варнака, которому ухлопать человека все равно что раз чихнуть. После того как Илька угостил мачеху молотком, названия варнак и бродяга к нему приклеились накрепко. Тетка Парасковья протестовала: «Да какой же он варнак? Сирота-горюн. Кто за него заступится, если он сам себя не защитит?» Но тетку Парасковью не больно слушали, да не больно любили ее за мужицкую грубоватость и прямоту.

Илька небрежно бросил на траву прут с хариусами и ни с того ни с сего поинтересовался: – Закурить нету? – И тут же презрительно заключил: – Хотя откуда у вас!

В Шипичихе было всего пять мальчишек – вот эти четверо да еще Илька. Жил Илька с ними недружно, часто дрался. Эти вот четверо учились и на зиму уезжали из поселка. Ему было завидно оттого, что они учились, жили беззаботно, и он их задирал иной раз вовсе беспричинно. Да и как не задирать: они учатся грамоте, а он вот уже две зимы школы в глаза не видал. Закончил первый класс, и, как иногда с кривой усмешкой говорил отец: «Весь его курс науки тут!»

Эти ребята летом бездельничают, играют себе, а он с Митькой водится. Их матери берегут и холят, а его мачеха шпыняет. И никто из них, кроме Веньки Хряпова, даже не расскажет Ильке про школу, учебники посмотреть не даст. А сам он разве попросит? Ни в жисть. Коли подвернется случай, ребяташки эти дразнят Ильку издали нянькой, лестуном за то, что он однажды неправильно произнес слово «пестун». Сирота ведь рубах меньше изнашивает, чем прозвищ. Но куда годны эти береженные мамками малявки, если Илька побежит с ними вперегонки, или на рыбалке, или же ягоды брать, дрова пилить, огород копать, в лодке плавать. Илька все может, а ему никакого почтения – прозвищами награждают, варнаком зовут. И пусть варнак, пусть! Взять вот и доказать им на деле, какой он варнак. На кулаках доказать!

Только не тронет мамкиных сынков Илька. Ему котелок нужен.

Он начинает издалека:

– Ну, как живете?

– Да ничего... помаленьку... – робко отозвался Венька Хряпов. – Ты это один... в лесу?..

– Один. А кого мне еще? – Независимо расправил грудь Илька и полез в карман, словно бы за кисетом. Но ни кисета, ни табаку там не было, и, пошуршав спичками, Илька разочарованно вздохнул: – Так, значит, курева у вас нету?

Некоторое время все молчали. Ребята с завистью смотрели на Илькин улов.

Тем временем красномордый Афонька торопливо выбирал ягоды из котелка. Зеленые он ел, а спелые обратно швырял.

– Эй ты, лесовик, отдал бы мне котелок-то?

Афонька открыл рот, не понимая, чего требует Илька, а поняв, спрятал котелок за спину.

– Варить не в чем.

Ребята услужливо упрашивали Афоньку отдать котелок, чтобы поскорее отделаться от Ильки. Венька даже за дужку котелка взялся. Но Афоньке жалко котелок.

– Самим нужен.

Не нравится Ильке толстая морда Афоньки. Не нравится не только потому, что она толстая, но еще и потому, что Илька не раз убирал навоз у объездчика – за картошку, не раз коня чистил и на водопой водил, а когда болела зимой Афонькина мать, даже воду таскал в здоровущих ведрах, которые аж до земли пригибают. Мачеха заставляла – за кусок. И вот еще надо унижаться, котелок просить.

– Ну и не надо! Уходи тогда с моего острова! Убирайся! Катись!

– Он советский, а не твой, – пробубнил Афонька, – я вот тятке скажу, он шугнет отсюда...

– Са-вец-ка-ай! – передразнил Илька Афоньку и сгреб его за грудки. – Я те покажу савецкай! Мой! Понял? – И оттолкнул Афоньку. Тот грохнулся через колодину, просыпал ягоды и завыл:

– Погоди, погоди, убивец кровожадный, лестун проклятый!

Илька вовсе не хотел связываться с Афонькой, тем более ронять его, но тут страшно освирепел, растоптал ягоды, выкрикивая:

– На! На! Жалуйся иди, харя! Я тебе за это полвзвода зубов вышибу! Иди к папе и к маме! Плевать я на них хотел. Я и отцу твоему засажу из ружья... И все!

Ребятишки поспешно бежали с острова, а Илька все бесновался:

– Мне теперь все равно, порешу!..

Ружья у Ильки не было, и порешить он никого не смог бы. После того как ребятишки исчезли, до него дошло, что он, пожалуй, зря погорячился. Явится объездчик, арестует, и здорово живешь – сошлют на каторгу или там еще куда.

А малявок этих он напугал, нагнал на них страху. Ничего, пусть знают наших, это еще ладно, удрали, а то бы он им всем наклак. Жалко котелок, получите! Да и котелок-то барахло. За него три копейки в базарный день не дадут. Но не было у Ильки даже трехкопеечного котелка, и решил он снова жарить рыбу на рожне. Волынка сплошная: разваливаются хариусы, с одного бока обгорают, а спинки сырые и горькие от дыма. На спине же самое мясо, самый вкус.

Крутился Илька вокруг огня, лицо в сторону воротил и жмурился. Внезапно зашелестели шаги по хрустящей отаве.

Обмер Илька. Уж не Афонькин ли отец?

Оглянулся. Среди покоса стоит Венька и протягивает сплюснутый котелок, который Илька сразу узнал. Отец этот котелок давно еще с собой привез и почему-то называл манеркой. По-городскому, должно быть.

– Илька, возьми! – кричит Венька. Он ставит котелок среди покоса и намеревается уйти.

– Постой! – машет ему рукой Илька и, бросив недожаренного хариуса, бежит вприпрыжку к Веньке. – Тебя я разве трогал когда?

– Трогал. Три раза.

– Ну, тогда, значит, заслужил, а теперь не трону. Где котелок взял?

– Мачеха твоя дала.

– Ма-аче-ха-а!

– Да.

– Врешь?

– Чего мне врать-то? Я прибежал и стал рассказывать, как ты Афоньке навтыкал, тетка Настя у нас была, а потом ушла, а потом принесла котелок и ничего не сказала. Мамка меня и послала...

Илька покрутил котелок в руках, зачем-то заглянул в него, понюхал и спросил:

– Как Митька там?

– Митька на улице ползает, тебя зовет. С ним Пашка водится, когда тетка Настя попросит.

– Ага. – Что это «ага» означало, ни сам Илька, ни Венька не поняли.

– Ну ладно, – протяжно вздохнул Илька. – Пусть живут, пусть без меня попробуют...

– А ты долго тут будешь?

– Захочу, так всю жизнь.

– И зимой? – вытаращил глаза Венька.

– И зимой. А что? – Илька задумался и уже неуверенно продолжал: – Зимой, конечно, холодно. Нет, зимой не буду. Уйду. К бабушке с дедушкой уйду. Через горы махну.

– Один?

– Конечно.

– Далеко-о, заблудишься.

– Вот то-то и оно, что заблудиться можно, а то бы уж давно ушел.

Венька с уважением и робостью смотрел на Ильку. Потом помялся и спросил:

– Тебе курица-то надо? Я в огороде наломаю.

– Не-е, зачем? Я это так, для форсу, – признался Илька и предложил: – Хочешь, уху будем варить?

– Давай.

– Идет!

И они начали хлопотать у костра, затем вместе хлебали пахучую уху берестяными ложками. Ложки эти Илька смастерил сам. Веньке понравилась Илькина жизнь, и он сказал:

– Хорошо как!

– Да, фартовая житуха! – беспечно молвил Илька и, скосив глаза на Веньку, неожиданно добавил: – А дома все-таки лучше.

Когда Венька уходил домой, Илька сам навязался его проводить.

– Ты приходи, не бойся, ну? Книжку принеси с картинками. – Хотел он это сказать поглубже, а вышло совсем уныло.

Венька обещал приходить.

Но увидеться им больше не довелось.

Мачеха

Илька лежал и думал о мачехе. Ему уже было ясно, что два каравая хлеба, положенные на виду, узелок с солью, мешочек с сахаром – все это было приготовлено.

Мачеха могла закрыть окно и замкнуть комнату, хотя в лесном поселке Шипичихе избы никогда не замыкались. Но замок-то у Насти имеется с ключом на тряпочке. А вот ведь она не замкнула и котелок дала. Ох и непонятные же эти взрослые люди!

Илька раздумался и стал перебирать в памяти прошлую, самую трудную в его жизни зиму. Да разве только для него она была трудной. Мачехе-то еще тяжелей приходилось. И непонятное дело, никогда они так дружно не жили, как в ту зиму.

Отец еще в декабре уехал в город, и там его положили в больницу. Три месяца жили пасынок с мачехой и с Митькой. У них не было денег, дров. Мешок картошки, курица и петух да колода соленой лосины. Вот и все их запасы. Митьке шел четвертый месяц. Он тыкался в пустую грудь Насти и стискивал ее деснами так, что она вскрикивала. Ночами напролет орал Митька, требовал молока. Мачеха пила воду, стараясь накопить молока в грудях, а Илька к объездчику, бывшему кулаку, вовремя смотавшемуся в лес, ходил убирать во дворе. За услугу давали картошки на варево или кружок мороженого молока.

Илька растоплял молоко в чашке на печке. Кружок подплавлялся снизу, становился тоньше и рыхлей. Илька тыкал во вспученную верхушку пальцем, помогал быстрее растопиться молоку и слизывал с пальцев сладковатую жирную сметану.

Мачеха делала вид, будто ничего не замечает. Она разводила молоко кипятком и пила, пила, чтобы мог малый насосаться досыта. Илька давился сухой картошкой. Мачеха отделяла молока и молча пододвигала ему кружку. Илька с трудом отвертывался от посуды с молоком и тоном степенного, все понимающего человека ронял:

– Не надо, сама пей. Тянет ведь тебя Митька-то.

Мачеха похудела, окостявилась. Шея у нее сделалась жилистой, под глазами залегли темные круги. Митьку стала прикармливать толченой картошкой. Малыш капризничал, выплевывал картошку, не давал мачехе спать.

С трудом отдирав Илька голову от подушки, заходясь, спускался с печки, нащупывал пеленальник, за который Настя качала люльку, и хриплым со сна голосом советовал:

– Иди поспи.

На дворе трещал мороз, и сквозь разрисованное кухонное окно падал ломающийся свет луны. Илька выбегал до ветру и слышал, как скрипели зачоченевшие шипичихинские дома, видел подымающиеся из труб столбы дымов. Только из квартиры Верстаковых дым не поднимался. Дров мало, и печь топили раза два – утром и вечером, а иногда только утром. В углах и под окном в комнате поселились белые зайцы куржака. Темно в квартире Верстаковых. Нет керосину, нет еды, и дров совсем маленько. Хватит ли до рассвета?

Утром Илька надевал полушубок отца, подпоясывался. Мачеха засовывала ему сзади под опояску топор, завязывала шею полотенцем, закатывала рукава полушубка, и он отправлялся за дровами. Впереди него черным клубком катился маленький Осман, бойко изогнув

тонкий щенячий хвост. Осман тыкался во все следы носом, пробовал нюх. Щенок от знаменитой лайки, и его, несмотря на скудость с харчами, никому не отдавали.

Илька рубил тонкий сухой осинник и, взяв по две осинки под мышки, тянул их по снегу, тяжело выдыхая клубы морозного пара.

Как-то приметил Илька небольшую сухостойную лиственницу и решил срубить ее. Лиственница не то что осина. Она горит жарко. От нее больше тепла.

«Свалю, разрублю на кряжи и стаскаю, – думал парнишка. – Теплынь всю ночь будет».

Но подрубленная лиственница завалилась на березу и не падала. Раскачивал ее Илька, раскачивал, колотил обухом, ругался матерно, – дерево ни с места. Отступить бы мальчишке, но он человек упрямый, принялся березу рубить. Рубил, рубил, стылая березка, будто выстрелив, хрустнула, сухая лиственница сорвалась, упала Ильке на голову. Свет померк в глазах у мальчишки, все перевернулось вверх ногами и упало куда-то.

Очнулся Илька в снегу. Осман ему лицо облизывает. Повел по лицу ладонью Илька – кровь. Огляделся: на снегу, как от мышки, малюсенькие красные капли. Ничего не поймет мальчишка, стукнуло по голове, а кровь из носа прыснула.

Поднялся Илька. В голове звон, искры гасучие из глаз в снег сыплются. Шатаясь, побрел домой.

Мачеха перепугалась, завидев пасынка. Уложила в кровать, компресс на голову ему наладила и, перебарывая страх, причитала:

– Да чтоб ты там, в больнице, и окошел! Чтоб тебе отравы подали вместо микстуры. Загуби-ил! Мои молодые годы загубил! Детей своих загубил!

Мачеха любила причитать насчет своих молодых лет.

Илька к этому привык. Но тогда мачеха как-то непривычно причитала, совсем по-другому, и оттого Ильке сделалось ее жалко, себя жалко. В самом деле, у нее тоже житье незавидное. Она старше Ильки всего на девять лет. Какая же она мать? Люди говорят, что не такую бы надо брать отцу, а ей не за детного выходить бы. Да у них все не как у людей, так приблизительно думал Илька, трясаясь в ознобе. Видно, долго в снегу лежал, успел застудиться.

В комнату набились люди, все больше лесозаготовители. Щупали Илькин лоб. Старший из лесорубов, которого называли десятником, сказал резонно:

– Мальчишка отойдет, прогреть его только надо. – И распорядился подвезти бедствующей семье сушину.

Лесорубы еще посоветовались между собой и принесли из конторы четыре охапки пиленых дров. Тетка Парасковья дала Ильке лекарство, выбрала его отца, мачеху и жарко натопила печь.

Она распорядилась в квартире Верстаковых как хозяйка, и квартира эта как-то сразу преобразилась, посветлела. Мачеха виновато помалкивала и, как чужая, услужливо помогала тетке Парасковье наводить порядок в своем жилье.

Илька ночью хорошо прогрелся и уже утром возился с братишкой Митькой.

У Ильки еще несколько недель кружилась голова. Но из-за дров они больше не горевали. Лесорубы привозили каждую неделю лиственную или сосновую сушину. Однако с едой по-прежнему было плохо, и когда Илька оправился, принялся соорудить ловушку. За палку он привязал бечевку и насторожил старое деревянное корыто, под которым нащипал крошек и насыпал овса, взятого потихоньку из конских кормушек. Бечевку Илька протянул в форточку и сидел у окна, зорко наблюдая за ловушкой.

Зима лютовала. Птицы были голодны. Они стайками сбегались под корыто. Тогда Илька дергал за веревку и выбегал на улицу. Из-под корыта он вытаскивал тепленьких птичек. Сердце у них колотилось быстро-быстро. Илька без лишних рассуждений свертывал головы птичкам, потрошил их и варил суп. Без головы и без перьев птички оказывались величиной с бутылочную пробку. Но из чугунка все-таки пахло мясным, и сверху плавали светлые жиринки.

Однажды тетка Парасковья увидела, как Илька вылавливал из-под корыта птичек, догадалась, зачем он это делает, и закричала:

– Брось! Отпусти, говорю!

Илька послушно выпустил из горсти помятых пичужек и виновато потупился. Тетка Парасковья забросила в огород корыто, отняла у Ильки бечевку, хотела отстегать его, но посмотрела на понурого худого мальчишку и уронила руки:

– Не надо птичек душить, не надо! Они ведь тоже голодные... – Она смолкла на минуту и тяжело выдохнула: – Ох, и семейка! Ну что мне с вами делать? – Она отдала Ильке бечевку и сказала, чтобы Настя завернула к ней. В тот же день она подрядила Настю стирать белье лесорубам и убирать их жилье. За это мачехе установили небольшую плату деньгами, а главное давали муки, крупы, лапши и мыла.

Как-то в одной из комнат вымораживали тараканов. Воробьев и синичек залетело туда – тьма. Илька захлопнул дверь. Птички забились о стекла, как мухи. Лупи их и собирай. Илька подумал, подумал и снова распахнул дверь.

Тетка Парасковья часто просила Ильку подежурить у телефона и подкармливала его за услугу. Тетка Парасковья одновременно работала приемщицей и телефонисткой, но сидеть у телефона днем ей было недосуг. А может, то был предлог. Даром Илька ну ни от кого ничего не взял бы.

Контора располагалась в соседней комнате. Илька смотрел на блестящие звонки аппарата, с интересом и нетерпением ждал, когда зазвонит. Но звонили днем редко.

Десятник дал Ильке книгу, чтобы он не скучал, и здесь же, в конторе, Илька прочитал эту первую в жизни книгу про Робинзона Крузо. Книга была растрепана, в ней не хватало страниц и не было конца, но Илька все равно читал ее каждый день, шевеля губами, и за зиму одолел. Весной, уезжая с участка, лесорубы отдали ему эту книгу. Илька читал ее еще раз, но Митька добрался до книжки и распластал всю.

Жалко.

Да, жить им стало тогда легче. Тетка Парасковья помогала, лесорубы, совсем незнакомые люди, помогали – не дали пропасть. А то, пожалуй, каюк пришел бы семейству Верстаковых. Ведь к той поре, как стукнуло Ильку по голове (не бывает худа без добра), они уже успели съесть курицу, потому что петуху откусил голову Осман и одной курице, без петуха, было тоскливо. Ну, может быть, и не очень тоскливо, однако Илька с мачехой внушили это себе и съели курицу. И картошку съели и лосину, а объездчик, особенно его жена да мать стали куражиться.

Отец вернулся домой в начале марта. Он обвел взглядом комнату, полутемную оттого, что окна были завешаны половиками, заглянул в пустой курятник, скользнул взглядом по закутанному в тряпье Митьке и произнес, пожав плечами:

– Я же знал, что без меня вам гроб. Вы же никуда не ходите...

Мачеха от обиды захлебнулась слезами. Илька сжал кулаки. Было бурное объяснение, в котором первый раз в жизни принял участие Илька. Он вместе с мачехой лез в драку на отца.

Собрав скудные харчишки, отец отправился с ружьем к берлоге, которую заприметил еще с осени, и принес в мешке кусок медвежатины. Назавтра он съездил с объездчиком в лес и привез остальное мясо.

Дела пошли на поправку. Илька ел жареную, пареную, вареную медвежатину, и мускулы его округлились, сделались что камешки.

Страшная зима позади. Но лучше бы уж жить в голоде, в холоде, да в ладу. Ведь всем пополам делились, каждой крошкой. Помнится, на Новый год в доме не было ничего поесть, кроме картошки. Мачеха зачем-то вечером ходила к объездчику и принесла творожную шаньгу.

Илька догадался: она ее украла.

Жена объездчика, вынув из печи листы, ставила их обычно на ларь возле дверей. Мимоходом можно взять шаньгу. Мачеха взяла и отдала ее Ильке. Она хотела, чтобы мальчишка что-нибудь вкусное съел в праздник.

Мать

Но отчего же изменилась мачеха потом? Должно быть, сделала она какую-то ошибку, неправильно распорядилась своей молодостью и вот злилась, срывала душу на Ильке, если не было дома отца. А когда возвращался отец, начинались скандалы и жить становилось еще тяжелей. Мачеха и отец кляли друг друга, а Илька чувствовал себя в чем-то виноватым, лишним. Потом они принимались драться. Отец как-то страшно избил Настю. Ладно, до суда далеко, посадили бы его в тюрьму.

Да-а, все у взрослых сложно, непонятно. Вот, к примеру, зачем мачеха всегда поддевает покойницу мать? Утонула мать давно, и могила ее крапивой заросла, а мачеха ее тревожит. Илька не может этого стерпеть. Если его обижают, куда ни шло. Но мать...

И он не дает. Молотком, топором, чем угодно ударит, обороняя самое дорогое, что хранится в душе. Не тронь! Не дам! Мое, и все тут. Больше у меня с собой ничего нет.

Илька любил видеть мать во сне. Он плохо помнил мать, и она всякий раз виделась ему по-разному. Но вот один день и запах земляники он запомнил на всю жизнь. Если он закрывал глаза, события этого дня проходили перед ним со всеми подробностями и отовсюду наплывал земляничный запах.

Это было накануне того дня, как уйти матери навечно. Они отправились на увал за земляникой. Мать сказала, чтобы Илька старался и набрал бы полную кружку земляники. А потом она поплывет на лодке в город и отдаст землянику отцу. Отец в ту пору сидел в тюрьме, а Ильке говорили, что он в больнице. Когда они возвращались домой, дорогу им пересекла черная змея. Мать прижала к себе Ильку и, провожая глазами медленно уползающую гадюку, прошептала: «Господи! Не к добру!»

Спать они легли поздно, и всю ночь чудно пахло в избе земляникой.

Рано утром, да, это было совсем, совсем рано, его разбудили. У Ильки слипались глаза, и потому, наверное, он и не помнит лица матери, со сна-то не разглядел ее как следует. Рано утром, когда еще сквозь щелястые ставни чуть просачивался синеватый рассвет, мать наклонилась над Илькой и позвала: «Сыно-ок!» Мальчик через силу разлепил ресницы и обхватил горячими руками ее шею. И, словно чувствуя, что они прощаются навсегда, женщина, не привыкшая к нежностям, крепко притиснула сына, заглянула в лицо и стала жадно целовать в щеки, в нос, в ухо. А потом опомнилась. «Что это я? – сказала и деловито поправила на голове платок. – Ну, пойдی запрись и спи, а я гостинцы поплавлю отцу».

В прохладных сенцах она подняла котомку. От котомки доносило ягодой земляникой. Поцеловала Ильку крепко еще раз.

Губы матери тоже пахли земляникой.

Илька вернулся в избу, нырнул в теплую постель. И казалось, только закрыл глаза, в дверь забарабанили. Илька вскинулся, огляделся. За дверью слышался хриплый, надорванный голос бабушки:

– Иленька!.. Илюшка!..

Илька откинул крючок, и бабушка с перекошенным ртом, с растрепанными волосами упала к его ногам, ткнулась в колени, пытаясь что-то сказать, но вырывалось у нее только:

– Ой! Ой! Лизавета-а! Лизавета-а-а! Касатушка-а-а!

Илька ничего не мог понять. Но все равно стиснуло у него грудь, и сделалось трудно дышать.

Сбежался народ. Бабушку оттащили, плеснули из ковша воду на ее лицо и голову. А Илья вернулся в избу и стал одеваться. В избе плавал лесной запах. Илья пошарил глазами и заметил на столе кружку с земляникой. «Мама мне оставила», – подумал он и с надетой на одну ногу штаниной поковылял к столу и принялся есть ягоды, жадно, горстями.

В первые дни Илья о матери не тосковал. Он еще не мог постигнуть смерти. В его голове еще не укладывалось, что мать может никогда не вернуться. Ведь запах земляники, тот самый запах, который оставила мать, был всюду с Илькой. Она уехала и все равно приедет скоро. Надо только ждать.

И он ждал. Уже выловили мать из реки и привезли на подводе. А он все равно ждал. Какое ему дело до того темного, вздутого, что под навесом. Его даже показать Ильке боялись. Правда, он все же тайком заглянул через забор, но ни жалости, ни боли не испытал, а только страх.

Нет, это все не то. Мать не могла быть страшной. Все эти плачущие люди и бабушка, рвущая на себе волосы, ошибаются, а Илья не ошибался, потому что он один чувствует тот запах, который никто другой уловить не может.

И когда хоронили мать, когда по всему кладбищу разносились вопли, а Ильку просили: «Поплачь, поплачь, легче будет», – он, сколь ни старался угодить взрослым, ни одной слезинки из себя выдавить не смог. Он ждал. Месяц, два ждал, потом съежился, примолк, ходил потерянный.

Минуло лето, и мальчишка стал что-то постигать.

Однажды бабушка, которая не пускала Ильку к реке, боясь, что он тоже утонет, после долгих поисков обнаружила Ильку на кладбище. Он стоял у могилы матери. Возле самого креста была выцарапана ямка. В ней торчал тоненький стебелек со звездочкой среди сухих багровых листьев.

Это была земляника.

Заметив бабушку, Илья прижался к ней и долго, безутешно плакал. Потрясенная бабушка гладила его по спине и повторяла: «Что ты? Что ты, дитяtko? Успокойся, не плачь, – и со вздохом прибавила: – Твои слезы впереди».

И лежа в шалаше с закрытыми глазами, Илья, как ему думалось, видел во сне мать и ощущал сладкий, томительный земляничnый дух. Но он вовсе не спал, потому что вдруг вздрогнул, заслышав шаги. Приподнявшись, Илья выглянул в треугольный выход шалаша – и увидел отца. Тот шел через покос.

Илья заметался в шалаше, как в мышеловке, и, смекнув, принялся поспешно выдирать сено в другом конце шалаша. Отец уже подходил к огневищу. Илья нырнул в отверстие, выполз на четвереньках и кинулся вброд через протоку. На острове он забрался в чашобу и внезапно упал на живот.

Перед его носом была кочка. Из нее торчал пучок метлиги. Казалось, кочка выбросила фонтанчики, которые рассыпались мелкими струйками. Раздвинув метлигу, Илья выглянул. Отец стоял у шалаша, пожимая плечами. Это было признаком раздражения. Потом отец поворошил носком сапога огневище и, видимо, обнаружив жар, вдруг усмехнулся.

Отец был невысок ростом, кривоног и подвижен. Он уже выпил, это чувствовалось по тому, что пальцы рук у него все время находились в движении, выдавая молчаливые рассуждения. Мальчик уже знал, что если отец перстит, значит, он под градусами. Как-то, будучи под этими самыми градусами, отец учил Ильку ходить на шесте в лодке. Правда, Илья сам напро-сился, чтобы его научили этому хитрому делу. Отец все обещал, обещал, а потом, выпивши, значительно прищурился и сказал: «А ну-ка, сын, бери шест!»

Илья взял шест. Отец толкнул с берега верткую лодчонку и, показав на другую сторону Мары пальцем, спросил: «Во-он, белый камень видишь?» – «Вижу», – ответил Илья. «Так вот, если тебя снесет ниже того камня, этот шест об тебя обломаю. А теперь плыви!»

Илька, конечно, снесло, и далеко ниже камня. Мара неумелых не любит. Мальчик сидел по ту сторону реки и ревел. Отец прыгнул в другую лодку – и за ним. Илька испугался и обратно поплыл. Отец гонял его от берега к берегу полдня и таким образом научил ходить на шесте.

Пьяненький, он похвалялся перед людьми своим «методом», Илька не мог его слушать, постоянное раздражение так и кипело в нем.

Люди рассказывали, будто отец сильно бил покойницу мать, и, видимо, за это Илька его не переносил. Бабушка прямо в глаза говорила Верстакову, что мать погибла из-за него. Не пьянствуй он, не мошенничай на мельнице, был бы на воле. А то сел в тюрьму, срок получил, и мать Илькина из-за этого утонула. Он отбыл на строительстве, в какой-то шараш-монтаж конторе, припаянный ему срок, освободился. Матери же у Ильки нет и не будет.

Постояв у огневища, отец обошел вокруг шалаша, должно быть, заметил дыру и направился к берегу протоки. Илька припал к земле, пополз.

– Илька-а!

Мальчишка не отзывался.

– Илька-а! – повторил отец и, не дождавшись ответа, сердито приказал: – Сейчас же иди домой!

Илька молчал.

– Я кому говорю, вертайся домой! – снова потребовал отец и, подождав, добавил: – Никто тебя не тронет!

«Да, не тронете! Знаю я вас! – металось в голове Ильки. – Сейчас-то, может, и не тронете, а потом...»

– Чтобы сегодня же был дома! – удаляясь, хмуро бросил отец.

До глухой темноты околачивался Илька на острове, боялся, что отец вернется. Поздней ночью пробрался в шалаш, зарылся в сено и, поминутно просыпаясь, дрожал мелкой дрожью до самого утра.

Встреча со сплавщиками

Мешочек с хлебом и узелок с солью отец не заметил или не захотел взять. Должно быть, не заметил, удочки и те унес.

Илька прикрепил мешочек к поясу, перебрался на остров и здесь, срывая горстями смородину, поел с хлебом. Делать было нечего. Мальчишка вышел на берег, привалился спиной к изогнутому стволу вербы и снова задремал. Солнце еще не вышло из-за гор, и губы Ильки скоро задрожали от озноба. Он проснулся, поежился и длинно зевнул. Потом резко вскочил, принялся прыгать, махать руками. Чтобы стряхнуть утреннюю тишину, так угнетающе действующую на одинокого человека, сердито заорал:

– Мо-о-орда!

Горы согласно ответили: «Да-да-да...»

– То-то же... – буркнул мальчишка и стал бросать камни в воду, стараясь угодить в плывущую щепку.

На другой стороне реки, на высокой скале, стояла громадная лиственница. Лучи солнца откуда-то снизу ударились в ее вершину, и сразу мелкий клочковатый туман, робея, сполз к подножию гор, заколыхался над рекой, вытягиваясь в легкую, как пух, полосу.

Илька ждал солнца. А оно не торопясь просыпалось за перевалом, и, когда наконец выкатилось на гребень дальних елей, все кругом засияло яркими отблесками. От бревен, что тесно нагромодились на берегу, шел пар. Гладкий камешник на берегу стал быстро обсыхать. Птицы перестали петь и чирикать, занялись промыслом, обследуя гнилые деревья, вылавливая жуков и насекомых. Куда-то пробежал бурундучишка, выскочила на берег лиса и раскопала мышиную норку. Понюхала, разочарованно фыркнула и подалась дальше. Ворона снизилась над водой,

сцапала зазевавшуюся рыбку – и на берег. Склевала добычу, очистила клюв о камень, задумалась. С одного берега на другой с угрожающим криком перелетел ястреб и опустился на островерхую сушину. Мелкие птицы сразу перестали там хлопотать и возиться – затаились. Вверху, сваливаясь за горы, кружил подорлик.

Новый день, с трудами и заботами, начался. Ильяка забрался на тот самый залом, с которого удил хариусов, и лег животом на широкое бревно. Спину и голову пригревало. После беспокойной ночи мальчишка крепко спал.

– Что ты спишь, мужичок? Уж весна на дворе! – услышал он и, вздрогнув, поднял голову.

Перед ним с камбарцами – короткими баграми – стояли двое. Один молодой, в рубахе с расстегнутым воротом, с курчавой белой головой. Казалось, кто-то выхватил из-под столярного верстака пригоршню крупных стружек и швырнул их на голову этого парня. На лбу у него широкая поперечная складка.

Второй уже стар. У него дряблое лицо, нос красный, только губы мягкие, улыбочивые. Он-то и обращался к Ильке так складно.

– Придется тебе, брат, удалиться отсюда, – продолжал старый сплавщик. – Сейчас мы твою кровать разберем и на лесопилку отправим.

Ильяка молча сошел с залама и сел на камень. Сплавщики принялись сталкивать бревна, не обращая внимания на мальчика. К удивлению Ильки, залом они разобрали быстро и словно бы играючи. Потом закинули багры на плечи, пошли вниз и стали отталкивать от берега обсохшие лесины. Сплавщики нет-нет да и поглядывали в сторону Шипичихи, кого-то, очевидно, ждали.

– Копаются, черти! – ругнулся молодой.

– Не спешат от людей уплывать, – подтвердил второй сплавщик и предложил: – Давай покурим.

Сплавщики сели неподалеку от Ильки на бревно и принялись развязывать кисеты. Пожилой, набивая табаком трубку с коротеньким кривым мундштуком, посмотрел на Ильку и, обхватив колени, что-то сказал молодому. Тот тоже посмотрел на мальчика и поманил его к себе. Ильяка послушно подошел, сел на край бревна. Пожилой сплавщик насмешливо прищурился, протянул ему кисет.

– Не курю, – отверг предложение Илька хрипловатым голосом и прокашлялся.

– Ты чей будешь, паренек? – обратился к Ильке кучерявый плавщик.

– Здешний.

– А чего рано из дому ушел?

– Да так...

Разговор не клеился. Вид у Ильки подавленный, и в глазах его, еще вялых со сна, гнездилась тоска. Старый сплавщик внимательно присмотрелся к нему.

Заношенная синяя рубаха без пуговиц, штаны, прорванные на коленях, поцарапанные ноги, давно не стриженная и не чесанная голова – все это не ускользнуло от цепких глаз старика.

– Так чей же ты все-таки? – неожиданно повторил он свой вопрос.

Ильяка, нахмурившись, недружелюбно ответил вопросом на вопрос:

– Вам-то что? – Глядя на быстро плывущее бревно, прибавил: – Ничей. – Заметив, что таким ответом он озадачил сплавщиков, пояснил с грустной усмешкой: – Вольный казак!

– Чего, чего?

– Вольный казак, говорю, – повторил Ильяка и ожесточенно закончил: – Бродяга!

С этого и пошел разговор. Нехотя выжимая из себя слова, паренек начал рассказывать о себе, а затем, ободренный вниманием и участливыми взглядами сплавщиков, продолжал уже уверенно, ничего не утаивая, доверяясь этим людям.

– Конечно, дело семейное – непростое, – вздохнул Илька, повторяя чьи-то чужие слова. – Но и терпенья моего больше нет. Тряпкой в рожу?! Это как называется? За это даже в сельсовет можно идти. А где он, сельсовет-то? Нету сельсовета. Кому пожалуешься? Некому. А они увезли меня сюда и изгаляются. Вот и рубанул я мачеху молотком. Довели! Это еще ладно, ружья дома не было, а то бы до смертоубийства дошло. Тетка Тимофеиха вон говорит, что я очень даже опасный для опчества, если обозлюсь. Я нервный. Есть даже такая болезнь – невроз называется. Это отец в больнице узнал. Он у нас все по больницам, по лесам да по тюрьмам скитается. Вот кабы наоборот было: отец бы утонул, а мама бы осталась. Бабушка говорит, что без отца был бы я полсироты, а без матери – полный сирота...

Сплавщики слушали не перебивая.

Молодой парень уже докурил сигарку до того, что она обжигала губы, но он словно бы не замечал этого, тянул и тянул, жадно, порывисто. И у него все чаще и чаще подпрыгивало веко. Илька заметил это и подумал, что молодой дяденька тоже очень нервный человек, раз у него глаз так дергается.

– Говори, говори, – попросил пожилой сплавщик с глубоким вздохом и протянул кисет своему товарищу.

Но Илька не мог дальше говорить. Ему как раз надо было рассказывать о том, как отец вчера унес у него все, даже старое пальтишко и удочки.

Из-за острова выплыл плот, на котором стояли два домика: один длинный, наподобие барака, другой маленький, как будка. Все это, вместе взятое, на сплавщицком наречии именовалось казенкой. Люди на плоту дружно работали потесями, прибываясь к берегу, на котором сидел Илька со сплавщиками. Молодой сплавщик подбежал к воде и, сложив руки рупором, закричал:

– Эй, приставайте ниже острова! – И, заметив, что его поняли, с досадой полюбопытствовал: – Чего это вы мало спали?

Но плот уже пронесло мимо, а может, люди делали вид, что ничего не слышали. Из всего этого Илька заключил: кучерявый парень хотя и молодой, но, видимо, у сплавщиков за старшего. Вернувшись к бревну, на котором сидел Илька со стариком, он первым делом поинтересовался:

– Ты ел сегодня?

Мальчик молча кивнул головой. Сплавщики переглянулись между собой. Илька догадался – не поверили ему, и пояснил:

– Хлеб остался. Он не увидел его... У меня мешочек-то в кустах спрятан...

– А-а, ну тогда другое дело, – согласился старый сплавщик и тут же обернулся к товарищу: – Что будем делать, Трифон?

Молодой сплавщик сердито тыкал багром в гальку, а когда поднял голову, Илька заметил в его глазах злобу.

– Я вот пойду сейчас в поселок и его преподобному папе морду набью: умеи содержать родное дите, коли произвел на свет...

– Нет, нет! – вскочил Илька с бревна. – Я утоплюсь лучше, но домой не пойду...

Старый сплавщик обнял Ильку, посадил рядом с собой и стал гладить по голове, отчего Илька разревелся. Сирота чувствителен к ласке, особенно к мужской. Трифон сидел, стиснув зубы, и веко его снова застрочило.

– Бабушка-то с дедушкой, значит, в деревне Увалы живут? – спрашивал между тем пожилой сплавщик.

Илька тряс головой.

Захрустела галька под ногами. Растянувшись цепочкой, подходили четыре сплавщика. Два здоровенных детины, которым по локоть были рукава сплавщицких брезентовых курток, шли рядом. Чуть поодаль, словно досыпая на ходу, брел мужик, опираясь на багор. Нижнюю

губу вместе с челюстью вынесло у него вперед, точно у старушки. За ним, держа камбарец под мышкой, как ружье на полевой охоте, переставлял длинные ноги прыщеватый парень, и по лицу его плавала мечтательная улыбка.

– Чего, малый, хнычешь? – уставился на Ильку широколицый детина с узко разрезанными глазами и по-монгольски выпуклыми скулами.

Трифон знаком велел сесть и коротко рассказал об Илькиной беде. Два здоровенных детины, которых Трифон называл братанами, обматерились и закурили. Сонный сплавщик, часто моргая, уставился на Ильку. Длинноногий же беззаботно заявил:

– Сплавщики находят Робинзона! – И повернулся к Трифону: – Скажи, нет? – И, не давая тому усомниться, обвел вокруг себя рукой: – Остров есть? Есть! Леса есть? Есть! Говори товарищу, – повернулся он быстро к Ильке, ты читал о Робинзоне Крузо? Читал! Очень хорошо. И, значит, что?

Букву «г» говорливый сплавщик произносил так, как это умеют делать только украинцы. Парень этот сразу понравился Ильке. Пусть морда у него прыщеватая и с таким серым отливом, как у лежалого налима, но все-таки, видать, человек он бойкий и веселый. А веселых людей Илька страсть как любил.

Мальчишка, стряхивая с ресниц слезы, моргал усиленно, пытаясь улыбнуться.

Прыщеватый же парень продолжал болтать. Трифон перебил его:

– Ты, Дерикруп, ровно пулемет. Скажи лучше, что с мальчишкой делать?

– Как что делать? – изумился Дерикруп. – Мы люди? Люди! Мы нашли Робинзона? Скажете, нет? А какие же порядочные люди оставят человека одного на необитаемом острове?

– Значит, решено?! – хлопнул себя по коленям повеселевший Трифон.

Пожилой сплавщик притиснул к себе Ильку, а его товарищи облегченно выдохнули и снова полезли за кисетами. Но Трифон пресек этот маневр:

– Курить довольно. Солнце скоро на обед покажет, а мы еще не работали. Дядя Роман, – обратился он к пожилому сплавщику, – бери братанов и айдайте на ту сторону. Дерикруп и ты, Сквородник, – со мной. Ты, малый, как тебя звать-то? Илькой? Ты, Илюха, ступай на плот. Варить умеешь? Хорошо. Пока что постоянно будешь там с Исусиком...

– С кем?

– С Исусиком! Это мы так одного нашего кличем. Не вздумай ты его так называть – изобьет. Он там обед варит и дежурит. Ну, все – в ружье!

С этими словами Трифон взял камбарец и вместе со сплавщиками принялся сталкивать лес, а Илька с остальными мужиками отправился к плоту. Он на минуту забежал в кусты, взял мешочек с хлебом и, появившись, сконфуженно пробормотал:

– Вот и все мои вещи – молоток да клещи!

– У нас их тоже не лишка, – ободрил его дядя Роман.

Плот был причален за толстый ствол сосны. К стене барака прибит плакат, смытый дождями. На нем уцелели только два слова: «Вперед» и «пятилетку», а остальные угадывались лишь по полоскам, оставшимся на красном полотне. На коньке барака укреплена небольшая мачта, на ней железный флажок, выкрашенный неизменно красным цветом.

На берегу подле плота горел костер. Вокруг него хлопотал человек с узкой спиной и тощей шеей, в ложбинке которой виднелась косичка. Когда человек обернулся, у Ильки глаза на лоб полезли. Ну до чего же люди умеют точно давать прозвища! Есть у бабушки икона, на которой изображен какой-то святой, – ровно с этого срисован. Бледное узенькое личико, острый нос, тоненькие бескровные губы с горестными складками в углах рта и голубенькие глазки. Только на иконе глаза большие, невинные, а у этого маленькие, глубоко провалившиеся и какие-то подозрительные.

– Кто такой?

– Мальчонка. Не видишь, что ли? – буркнул дядя Роман, отвязывая лодку от плота: – Сирота он. Поплывет вместе с нами до Усть-Мары, а там уж к бабушке с дедушкой уйдет в Увалы.

– Нахлебник, значит, – заключил Исусик, но дядя Роман так глянул на него, что тот осекся и забормотал: – Мне-то что, мое дело маленькое, раз начальство велит... А если сопрет чо, тогда как?

– Развякался! – пробубнил один из братанов, бодуче глянув на Исусика. Левого глаза у этого богатыря не было. Целый глаз смотрел на всех прямо и спокойно. – Покажи малому хозяйство. Он тебя подменит, зря хлеб уж точно есть не станет.

Илька уважительно посмотрел вслед одноглазому и сделал заключение, что этот сплавщик – человек очень серьезный. Другой братан тоже шагнул в лодку. Дядя Роман толкнулся багром, и, пощелкивая о каменистое дно носками камбарцев, сплавщики погнали лодку на другую сторону реки. Исусик раздраженно ворчал что-то непонятное себе под нос.

– Чо стоишь? Луку нарви, дров принеси. Чо, думаешь на дармовщинке кататься? В артели нашей лодырям нет климату – Трифон Летяга сырым съест...

Илька положил мешочек на камни и, не дослушав Исусика, пошел по берегу искать полевой лук. «У меня еще свой хлеб есть, – обиженно думал он, – да я и голодом продюжу, только бы не прогнали, только бы до Усть-Мары уплавили».

Хозяин казёнки

Сплавщики обедали, а Илька сидел в стороне.

– Чего куксишься-то? – крикнул Исусик. – Ступай кашу хлебать.

– Не трожь парня, – вскинул на него глаза Трифон, – обидел словом, так не лезь теперь.

– Экая цаца! – сердито пробурчал Исусик, вытирая подолом рубахи запотевший нос. – Кабы я его хоть пальцем тронул? Слово бы какое сказал.

– Иное слово больней оплеухи, – заявил Трифон. – А сирота, он особенно к слову чувствительный, по себе знаю.

Илька ничего этого не слышал. Он макал горбушку в воду. Стараясь не глядеть на мелькающие ложки сплавщиков, медленно жевал хлеб. Потом лег на живот и запил водой. «Пусть брюхо полнее будет – дольше продюжу».

Сплавщики пообедали. Илька собрал ложки в котел и отправился мыть посуду. Жидкая каша, заправленная поджаренным луком, пригорела. Илька отскребал ножом пригоревшую кашу и глотал слюнки. Лучше бы, конечно, съесть эти горелые корочки. Они тоже вкусные, но он не станет этого делать. Как-нибудь обойдется своими харчами, перебьется как-нибудь.

Появились пескари и гальяны – маленькие рыбки. Сначала несколько штук, а потом целый табун. Они похватывали горелые корочки и жадно теребили их. Ну и подлая рыбешка! Илька схватил камень и трахнул в суеющийся табун. Одного пескаря задело, и он, переворачиваясь со спины на брюхо, с брюха на спину, поплыл вниз.

– Не жадничай!

– Что готовить к ужину? – спросил Илька у Трифона Летяги, вернувшись на плот.

– Да кашу опять же. Продукты у нас на исходе. Одна крупа осталась. Не сегодня завтра баркас с Усть-Мары должен прийти. А покудова наляжем-ка, навалимся на кашу, как солдаты.

– Нет ли у вас, дядя Трифон, обманок? Я бы харюзов наудил и уху сварил.

– Обманок, Илюха, нет, а крючки есть. Да и где ты наловишь харюзов-то?

– Здесь их страсть!

– Уметь надо рыбу эту ловить. Она, бестия, не всякому дается.

– Были бы обманки, – рассудил Илька и, подумав, прибавил: – Ладно, я на червя попробую. Где крючки?

Трифон Летяга показал ему удочки. Они стояли в будке, предназначенной для просушки одежды. Илька отправился копать червей и ловить кузнечиков. Исусик недовольно ворчал:

– Без ужина будем.

Ему не хотелось идти работать, ворочать бревна. Кашеварить приходилось по очереди. И каждый сплавщик, дождавшись своего дня, отсыпался вволю, меньше всего заботясь о том, чтобы получше сварить еду. И вот, прождав целую неделю этого благословенного дня, Исусик ни с того ни с сего вынужден был горбатить, вместо того, чтобы валяться на нарах. Сплавщики посмеивались, а Дерикруп значительно сказал, уставившись белыми глазами на Исусика:

– Этот паренек из Шипичихи – тутошний Робинзон! Он подался на промысел. К ужину будут устрицы! Скажете, нет?

– Придурок! – рыкнул на Дерикрупа кашевар и для порядка крикнул Ильке: – Ну, гляди, парень, если без еды всех оставишь!..

– Не твоя забота, – проворчал Илька, ковыряясь в кустах. Он уже успел невзлюбить этого занудливого человека с иконописным лицом.

Червей было мало. Кузнечики сигали как угорелые, и мальчишка вернулся в барак. В баночке вяло пошевеливалось с десятков тощих червей.

В бараке, пропахшем дымом, вдоль стены сделаны просторные нары из толстых расколотых лесин. На нарах измятое сено. На сене несколько подушек в затасканных наволочках, как попало брошенные дождевики, телогрейки. В головах под сеном чемоданы и мешки. Только в углу в старое лоскутное одеяло были аккуратно завернуты подушка да ситцевая накидка вместо простыни.

«Это Исусикова постель», – отметил про себя Илька и покачал головой. Увидел на стенке керосиновую лампу. Стекло у нее было сплошь покрыто сажей. Рядом с лампой отрывной календарь с портретом какого-то военного на картонке и список дежурств по барaku. В стены вбито множество гвоздей, над печкой висят железные крючки. Чугунная печка туполобым боровом лежала на брюхе в ящике с песком. Окурки, обрывки газет, рыбы кости вперемешку с сеном толстым слоем лежали на полу. «Нет, не до рыбалки сегодня», – обреченно подумал Илька и стал искать веник.

– Ну и охреди! – покачал головой мальчишка.

Илька полез под нары и, по-дурному вскрикнув, вынырнул оттуда. Под нарами сидел кто-то с поблескивающими в темноте глазами. Илька снял с лампы стекло, зажег фитиль и, боясь запалить клочья сена, свисающие в щели между плахами, осветил под нарами. В дальнем углу, сжавшись крутым комочком, дрожала перепуганная собачонка. Илька поманил ее:

– Кабздох! Кабздох! На! На!

Собачонка дрыгнула коротким хвостиком и поползла к мальчишке на животе. Была она совершенно неведомой для Ильки породы: белого цвета, лапы короткие, хвост заячий, на волосатой морде чуть виднелись глазки из-под старческих, длинных бровей, широкий, тоже старческий рот растягивался в умильной улыбке, показывая мелкие желтоватые зубы. Илька схватился за живот, глядя на это уморительное сотворение. А собачонка лохматым шариком выкатилась на порог, сторожко огляделась и радостно подергала хвостиком.

– А-а, вот ты кого испугалась? – догадался Илька и потрепал собачонку: – Нету, нету Исусика, ушел, злыдень несчастный.

Илька связал веник из пихтовых лап и принялся убирать в бараке. Сено он все выбросил в реку, одежонку выхлопал, мусор вымел. Потом сыскал в сушилке тряпку и ведро, зачерпнул воды и выскоблил стол, отмыл единственное в бараке окно, протер стекло от лампы и только после этого взялся варить кашу.

Мужики изумлялись и громко ахали, вернувшись с работы.

– Светлица! Скажете, нет? – восклицал Дерикруп, обращаясь к сплавщикам, но тут же поцарапал загрибок: – А на чем же спать станем? Сено-то наш покорный слуга выкинул!

Илька сказал мужикам, чтобы они сходили в его шалаш и принесли бы свежего сена на нары. Сплавщики начали было препираться. Трифон Летяга разозлился и крикнул:

– Мальчонки бы постыдились!

Сена притащили больше, чем надо. В бараке сразу сделалось свежее. Сыроватый запах был вытеснен и задавлен духом сухой травы.

Сколько ни упрашивали сплавщики Ильку ужинать, он не сел, и отвечал одно и то же:

– Вам самим мало...

Мужики ужинали на берегу, и, когда Илька ушел в барак, делая занятый вид, Трифон ткнул ложкой в сторону Исусика:

– Это все ты! Теперь он с голоду пропадет, а к нашим харчам не притронется.

Исусик виновато помалкивал, работая большой деревянной ложкой. Сплавщики тоже угрюмо молчали. Чем еще воздействовать на парнишку? Что сделать для того, чтобы он чувствовал себя в артели своим человеком? Дерикруп поковырял спичкой в зубах и неожиданно предложил:

– Его надо оформить!

– Как оформить?

– А обыкновенно. Я сделаю все. Вы уж только мне не мешайте.

Сплавщики с уважением посмотрели на Дерикрупа. Голова! На артиста когда-то учился, грамотный! Этот все может! Фамилия у бывшего студента театрального училища была Круподер. Это уж сплавщики переименовали. На сплав он попал совершенно случайно. Из училища его за что-то исключили. Остался он без стипендии, без жилья и завербовался на сезонную работу к сплавщикам. Никто этому, конечно, не удивился. В те годы на сезонных работах можно было встретить кого угодно, начиная от бывшего члена Государственной думы и кончая распоследним босяком, побывавшим во всех концах матушки России, перепробовавшим все работы, какие доступны смертному человеку.

Нашего полку прибыло

После ужина Дерикруп отозвал в сторону Трифона Летягу и о чем-то долго совещался с ним. Трифон, закончив тайную беседу, заговорщически подмигнул Дерикрупу и официальным тоном обратился к сплавщикам:

– Сейчас, товарищи, прошу всех на собрание, – и обернулся к Ильке: – Тебя потом позовем.

Илька присмирел, ожидая вызова. Уселся на вынутые из воды потеси, подальше от барака, чтобы мужики не подумали, будто он подслушивает, и стал трепать собачонку, которая была мягче кролика. Трифон Летяга зажег лампу, велел Дерикрупу сесть за стол, дал ему чистый бланк рабочего наряда и налил из чайника воды в пузырек, где едва виднелись высохшие чернила. Подкатив чурбаки к столу, он скомандовал развалившимся на нарах усталым сплавщикам:

– Всем сесть и не ржать. Будем мальчонку приручать к коллективу.

Бригадир еще раз оглядел стол, открыл дверь и кликнул Ильку.

Невольно подобравшись, Илька перешагнул порог барака и стал по команде «смирно» – сейчас должно произойти что-то очень важное. И если до этой минуты у него еще копошились в душе подозрения насчет того, что сплавщики какую-то шутку над ним проделать собираются, то при виде преисполненного важности Дерикрупа, немножко натянутых, но торжественных лиц сплавщиков, все исчезло. Илька понял: тут не до шуток. Правда, Исусик загадочно ухмылялся, штопая рукав рубахи. Так это ж Исусик!

Трифон Летяга жестом пригласил Ильку сесть на свободный чурбак и, прокашлявшись, повел речь:

– Тут, товарищи, такое дело. Пришла в нашу артель еще одна человекоединица. И поскольку эта человеко-единица, то есть Илюха, показал на деле, что он способен заменить дежурного сплавщика и высвободить тем самым другую единицу на работу, я думаю оформить его в бригаду, чтобы поставить на колпит, обеспечить спецодеждой и разными льготами. Возражения есть?

Возражений не было.

Тогда Тимофей Летяга сел на край нар и кивнул головой Дерикрупу:

– Приступим.

Дерикруп почистил заржавевшее перо где-то сзади о штаны, обмакнул ручку в пузырек и ошарашил Илью первым вопросом:

– ФИО?

– Чего? – растерянно открыл рот Илья.

– Говори по-русски, – загудели сплавщики на Дерикрупа, но он строго глянул на них и тем же важным тоном, от которого у Ильки пошел холод по спине, пояснил:

– Фамилия, имя, отчество?

Прежде чем ответить, Илья поднялся с чурбака, одернул короткую рубаху и обвел глазами сплавщиков.

Какие уж тут шутки! Тут совершался акт огромного значения, можно сказать, происходило священнодействие. Его, Илью, принимали в рабочие. И, набрав побольше воздуха, он выпалил:

– Верстаков Илья Павлович! – Мальчишка даже удивился: настолько получилось длинно.

Ни один мускул не дрогнул на лице Дерикрупа. Ох, не напрасно этот человек учился на артиста! Он размашисто написал это самое ФИО в графе наряда, где сверху значилось: «Колич. куб. др-ны», и снова поднял глаза на Илью:

– Национальность?

Илья беспомощно огляделся по сторонам. На лбу его выступил пот.

– Ну, кто ты: татарин, тунгус или русский? – пришел на помощь к нему дядя Роман.

Мальчишка помялся и ответил:

– Наверное, русский.

Мужики сдержанно рассмеялись. Сковородник же, подрагивая широкой нижней губой, как всегда не ко времени, принялся шутить, откуда, мол, парню знать, к какой национальности он принадлежит, дело-то, должно быть, было ночью. Но Трифон Летяга метнул яростный взгляд и рубанул по шаткому столу ребром ладони так, что подпрыгнул пузырек.

– Кто будет зубоскалить, удалю из помещения!

Лица у сплавщиков вытянулись. Сковородник сконфуженно спрятался за спину братана Азария, который сидел с полуоткрытым ртом, громко сопел и не моргал даже живым глазом. Он помнил, как неотесанным деревенским парнем сам первый раз оформлялся на работу, и потому сочувствовал Ильке. А мальчишка совсем ошалел от серьезности минуты. Но следующий вопрос оказался легким – насчет образования. Он коротко отчеканил:

– Одна группа! – и перевел дух, да преждевременно.

Дерикруп тут же верг его в смятение мудренейшим словом:

– Соцпроисхождение?

– Как это? – жалко и растерянно улыбаясь, уставился на него Илья.

– Ну, кто родители твои: крестьяне или рабочие? – дал наводящий вопрос все тот же добрейший дядя Роман.

Илья быстро, с благодарностью взглянул на него и затряс головой: дескать, дошло, дошло.

– Отец – охотник, а мать утонула, – сказал мальчишка и с трудом сглотнул слюну – так пересохло у него в горле.

Вот тут и начался сыр-бор, чуть было не погубивший все дело. Одни доказывали, что рыбаки и охотники самые настоящие пролетарии, так как ведут странствующий образ жизни, следовательно, ни к рабочему, ни к крестьянскому сословию не относятся. Другие утверждали, что охотники самые настоящие крестьяне, потому как живут они в большинстве своем по деревням.

Исусик, перекусив нитку, вколол иголку в подклад фуражки и огорошил сплавщиков:

– Выходит, толстоляхие попы тоже крестьяне, раз они по деревням живут?

Все озадаченно притихли. Дерикруп, чтобы остаться на высоте положения и разрядить обстановку, несмело предложил:

– Может, так и напишем – про-ле-та-рий! – и, чтобы не дать никому опомниться, макнул ручку в пузырек.

Но Исусик выскочил из угла и замахал руками. Тень его заметалась по бараку, переломившись надвое.

– Это как же? Парень небось хрещеный, а вы его басурманским званием заклеили?

– Заткнись ты! – разозлились на него мужики.

Исусик, как укушенный, быстро обернулся к нарам и, поскольку ближе всех к нему оказался дядя Роман, напустился на него:

– Ты, Красно Солнышко, бродишь без Божьего надзора по земле и хочешь невинную душу увлечь?

Дядя Роман был лыс, и сплавщики за это дали ему прозвище – Красное Солнышко. Он отстранил напирającego на него Исусика:

– Слюной-то не брызгай, раб божий.

– И раб! И раб! – ярился Исусик. – Раб, да не беспорточный бродяга. А ты богообманщик! И все лысые – богообманщики. Просили кожи на одну рожу, но Бога обманули и верховище обтянули. – При этом Исусик показал на лысину дяди Романа и тоненько захихикал.

Мужики тоже захохотали, и дядя Роман вместе с ними. Дерикруп под шумок заполнил графу, вписал слово «пролетарий» и поднялся, давая понять, что дело с оформлением закончено.

– Нашему полку прибыло! – воскликнул дядя Роман и с облегчением хлопнул Илью по плечу.

В полном изнеможении мальчишка опустил на чурбак и долго сидел, неспособный двинуть ни рукой, ни ногой. По лицу его все еще струился пот.

Трифон Летяга сказал:

– Готовиться ко сну. Завтра рано начнем спускать плот. Надо поджимать с зачисткой. Впереди еще Ознобиха – это понимать надо. Поскольку сейчас высвободился человек, дело пойдет быстрее. Я так думаю.

Все вышли из барака, закурили по последней перед сном сигарке. Только Исусик сидел в стороне, чтобы не оскоромиться, – табаку он не курил.

В небе сложились темные облака. Где-то в горах голосом глиняной игрушки вела длинный счет людским годам недремлющая кукушка. Перебивая ее задумчивый голос, чеканил перепел в траве: «Спать пора», и чуть слышно доносился лай собак из Шипичихи. Илья напрягался, стараясь уловить голос Османа, и подумал: «Хоть бы скорее уплыть подальше». На костер неслышно налетали и шарахались в темноту крылатые мыши. На перекате в конце острова звучно плескалась рыба.

Архимандрит – так звали лохматую собачонку сплавщики – во время дебатов лежал под нарами и не шевелился. Сейчас он вылез на плот и юлил возле мужиков. Те благодушно трепали его за волосатую морду и обзывали кому как желательно.

Долго дивился Илья на эту невиданную собаку, спрашивал, откуда она взялась и как. Мужики хитровато посмеивались, но в конце концов мальчишка все-таки узнал непростую и

загадочную историю этой собаки, по определению Дерикрупа, принадлежащей к благородной породе бы болонок.

Хозяйкой собаки была жена начальника сплавной конторы, очень дельного и сдержанного мужчины. До революции он долго служил лесничим. Уже будучи немолодым человеком, случайно и дико влюбился в дочку промотавшегося вконец дворянина со старинной фамилией. Дворянин этот в смутные годы революции и гражданской войны исчез с лица земли, а дочка осталась с молчаливым лесничим, подверженным романтике. Взамен приданого она привела ему на шелковом поводке совершенно ненужную, но падкую на сладости собачонку.

И вот эта собачонка вместе со своей хозяйкой очутилась на сплавном рейде среди разношерстного народа. Бабы плевались, узнав, что барыня дает собачонке тот же сахар, от которого сама откусывает. Целыми днями сидела хозяйка с собачонкой в плетеном креслице возле окна, квеля, рано поседевшая, и мечтательно смотрела вдаль.

Потревоженное гражданской войной, сдвинутое с родных мест разрухой и голодом население поселка жило трудно. Вместе со всей страной люди на рейде тужились, чтобы сделать немыслимое дело – поднять одряхлевшую Русь на новые строительные леса. А среди них, как измочаленная хворостина в куче деловых лесин, запуталась эта несчастная барынька.

Конечно же, все, начиная от ребятишек и кончая служащими в конторе, как могли, изводили ее.

Однажды поселковые ребятишки замыслили дерзкое дело и осуществили его: они утащили у барыньки собачонку и швырнули ее в реку. Собачонка каким-то образом выкарабкалась на катер, забила под лавку, и ее обнаружили спустя несколько дней уже в верховьях реки, куда поднималась молевая бригада Трифона Летяги. Собака очутилась на сооруженном в верховьях плоту и по недоразумению или ехидному умыслу получила мужское имя – Архимандрит. Она уморительно служила и опрокидывалась кверху лапами при первом окрике, боясь всего до смерти, как и ее хозяйка.

О хозяйке этой сплавщицы говорили часто. Она была чем-то вроде постоянного недуга. И говорили о ней такое, что даже Илья, с малолетства привыкший к грубым ругательствам и срамным рассказам, краснел.

Однако при всем этом мужики сучонку не уничтожили, даже привязались к ней. Но спать на постель ее не допускали, хотя в силу аристократической привычки она норовила иногда прилечь на что-нибудь мягкое. Место собаки на улице или под нарами – исключения не делалось даже Архимандриту.

Илья накормил Архимандрита и загнал под нары, долой с глаз Исусика. Тот пинал собачонку при всяком удобном случае. Сам Илья лег спать между Трифоном Летягой и дядей Романом.

Полежав немного, он тронул бригадира и вполголоса спросил:

– Нет ли у вас, дядя Трифон, шелковой нитки?

– Зачем тебе?

– Я бы обманки сделал и харюзов наловил, ухой бы нас накормил.

– Спи, спи, кормилец, – сонно отозвался натовившийся бригадир и натянул на Илью дождевик, заботливо ощупывая мальчонку: не поддувает ли ему под бок?

Илья вытянулся и затих. Он еще долго не мог уснуть. Прислушиваясь к свирепому храпу сплавщиков, он снова думал о взрослых людях – таких неодинаковых, таких непостижимых.

Разные люди живут на земле

Да, разные. Даже эти семеро из одной артели ничем не походили один на другого. За несколько дней Илья успел внимательно присмотреться к сплавщикам и немного ближе узнал каждого.

Вот бригадир Летяга. Есть белка с таким названием в Сибири. Делает она огромные прыжки с дерева на дерево, летает, как говорят про нее.

Ловкий в работе, всегда собранный, умеющий приноровиться к любой обстановке бригадир как нельзя лучше соответствовал своей фамилии. Да и глаза Трифона Летяги напоминали беличий пушистый мех. Если в этот мех подуть, он становится темнее, рассыпаясь, словно пепел. Лучистые и мягкие, в глубине глаза Трифона были темно-серые и, когда он сердился, становились совсем темными. Казалось, на светлое небо напознала туча, которая пряталась за облаками зрачков.

Фамилия Трифона была одновременно и его прозвищем, потому что точнее ничего придумать нельзя. Трифон, как узнал Илья, а скорее почувствовал по постоянному вниманию и заботе, какой-то ненадоедой, грубоватой и простой, тоже из сирот. Только осиротел он уже большой, когда ему было шестнадцать лет. На плечи шестнадцатилетнего парня легло хозяйство и забота о двух младших братьях и сестренке, а также и о матери. Он и до сих пор половину своей зарплаты отсылал семье, жил бережно.

Второй, наиболее заметной фигурой, был дядя Роман, Красное Солнышко. Дядя Роман говаривал о себе: «В моей жизни приключений было больше, чем дырок на терке». И в самом деле, жизнь его, что камешек, запущенный озорным парнишкой без всякого смысла. Куда камешек полетит и что с ним станет, никому не ведомо.

Был дядя Роман множество раз женат, но остался без семьи. Имел массу профессий, но ни одна к нему не приклеилась. Все в жизни он приобретал легко и сбывал не задумываясь. Если дело доходило до нательного белья, он и его снимал без всякого сожаления. Где только не колесило Красное Солнышко, чего только не видело, но вот на старости лет, подобно бесприютному шатуну медведю, подался старик в родные сибирские леса – умирать.

Ну, о Дерикрупе говорить нечего. Он весь на виду. В артели его любили за болтовню, беспутную и широкую натуру, называли малахольеньким. Узнать поближе и расспросить его о прошлом житье-бытье как-то не догадывались, считали, должно быть, что делать это незачем, а сам о себе он распространяться не любил.

Что же касается братанов, то тут особый разговор. В каждой более или менее порядочной артели есть или должны быть вот такие здоровенные работяги, которые двое не скажут за одного, а сделают за четверых. Никакими братанами они не были. Вплоть до прихода на сплав они и не знали друг друга. Первый из них, Гаврила, родом из низовьев Енисея, из так называемых сельдюков. Второй со святым именем Азарий – из минусинских крестьян.

Когда и как подружились Гаврила и Азарий, никто точно сказать не мог бы. Но видели их всегда вместе и считали за братьев. А уж если требовались по отдельности, кликали: «братан низовской» или «братан верховской». Что же касалось лично их, то Азарий думал, что без Гаврилы он давно бы пропал, а Гаврила, в свою очередь, не смог бы представить себя без Азария, которого надо было опекать, поддерживать и при нужде с уверенностью опереться на его широкое плечо.

Пожалуй, самой незаметной и все-таки очень занимательной личностью в бригаде был Сковородник. У него тоже, как и у Исусика, имелись, конечно, и фамилия, и имя, но какие – никто не смог бы вспомнить сразу. Если Трифону Летяге требовалось записать, он всякий раз спрашивал у него об этом.

Наиболее заметной достопримечательностью лица Сковородника, как уже отмечалось, была нижняя губа, за которую он и получил прозвище. Впрочем, он не обращал на это ни малейшего внимания. Если мужики прокатывались насчет губы, он невозмутимо заявлял: «Зато, когда я хлебаю, так не каплет».

Сердился Сковородник редко и больше сердился ни с того ни с сего. В разговорах участвовал тоже изредка и если вставлял слово, то обычно невпопад. Работал Сковородник старательно, однако в азарт не входил. Стоило кому-нибудь всерьез или в шутку крикнуть:

«Шабаш!», как Сковородник тут же закидывал багор на плечо, и уж никто не мог заставить его спихнуть лежащее на пути бревно. Мужики говорили, что, если у Сковородника загорится изба и он возьмется тушить ее, надо крикнуть: «Шабаш!», и он тут же перестанет лить воду.

Была у Сковородника многочисленная семья на Усть-Маре. Но он никогда о ней не вспоминал, хотя Трифон Летяга, хорошо знавший его, утверждал, что ребяташек своих Сковородник любил сильно и жену, очень работающую и бойкую, никогда не бил. А бить жен для сибиряков – занятие не только привычное, но даже модное.

Зато Исусик постоянно трещал о своей семье, о своих ребятах, которых у него было четверо, и о жене, которую он учитывал в каждой копейке и лупил нещадно за любую хозяйственную проруху. Он вступал в любой спор и бывал до глупости откровенным в иные минуты. Вот вчера вечером раскинули сплавщики портянки возле печки, думали, что она прогорела. В печке оказалась головня. Когда все уснули, головня подсохла и разгорелась. Лежащие на дровах портянки Исусика затлели, и, наверное, был бы пожар, да дядя Роман проснулся, затоптал горящие холстины, а потом тряхнул за ногу Исусика:

– Дрыхнешь, ястри тебя, пропастина, а онучи начисто сгорели.

Исусик подскочил, плевать начал:

– Ить слышал я, слышал, что горят портянки, но думал – не мои...

Дядя Роман, не употреблявший ругательства, кроме «ястри тебя», свирепо матюкнулся после этих слов.

Исусик большой словолей и обычно заводил споры сам. Разговорчивых людей в артели мало, и потому все баталии разгорались чаще всего между дядей Романом, Дерикрупом и Исусиком. Спор начинался с божественных тем и доходил до матюков.

Дядя Роман ни в Бога, ни в черта не верил и никаких божественных книг не читал. Не прикасался к Божьим писаниям и Исусик, а только слышал разные обрывки и отдельные изречения из десятых уст. Но он отстаивал все эти истертые холщовыми мужицкими языками пророчества с ярым упорством.

Мужики подзуживали его, особенно дядя Роман, вызывали на разговор, а потом высмеивали. Дело иной раз доходило чуть не до драки, и тогда Трифон Летяга разгонял всех спать.

В тихий вечер, располагающий скорее к молчанию, а не к разговору, Исусик уселся после ужина возле барака и певучим голосом завел:

– Вот, братцы мои, какая хреновина в божьем писании есть насчет роду людского. – И, делая вид, что он наизусть цитирует, загнусавил: – «И прииде такое время, когда два человека один веник в баню таскать станут». Это значит, выродится человек, – пояснил он, – обессилет.

– Да к той поре уже все переменится: и бань-то не будет, и париться люди не подумают, бескультурье это и вред для сердца, – возразил дядя Роман, у которого было худое, изношенное сердце.

– Чо-о? – изумился Исусик. – Бань не будет? Ха-ха, значит, культурных людей вша загрызет!

– Олух! Ванные будут, души и тому подобное!.. – выкрикнул Дерикруп.

– Души! – взъелся Исусик. – Пусть бусурмане, азиаты в душах-то моются. А русскому человеку баню с каменкой подай, да чтоб пар столбом. Игрушкино дело удумали – коммунизм без бани! Не признаю такого паршивого коммунизма!

– Эх ты, молотилка-колотилка, мелешь, сам не знаешь, чего мелешь, – с укоризной заговорил дядя Роман. – Таким, что в твоём писании обрисованы, если ты хочешь знать, только в душе и мыться подсильно, хлибкие-то не больно-то парятся.

Исусик наморщил лоб.

– Да, это рассужденье сурьезное... – И тут же начал спасаться: – А раз в Божьем писании есть, должно все сбыться. Писание не игрушкино дело!

– Демагог! – заключил Дерикруп. – Скажете, нет? – спросил он у мужиков.

Те согласились с ним, явно приняв незнакомое слово за какое-то ругательство.

Потом разговор перескочил на другие темы, и было рассказано множество былей и небылиц. Когда дело коснулось медицины, Исусик заявил, что вся эта медицина сплошной обман и что доктора существуют только для того, чтобы денежки выуживать у простаков. В подтверждение он рассказал такую историю.

– Вот в одном селе парень захворал. Молодой был – кровь с молоком! А потом стал чахнуть, чахнуть. Родители евонные к одному доктору, к другому, не игрушкino дело с дому работника терять. Корову стравили, коня, за куриц принялись, а доктора все свое: не можем ничего сказать определенного. А тут как раз на постой к этим крестьянам верховские обозники встали. Узнали они про всю эту ужасную жизнь парня и говорят: «Поезжай-ка ты, брат, в Минусу. Живет там в одном селе старуха, ужась дошла по лечению». Ну, долго ли, коротко ли колесил по свету парень, а только, значит, напал на ту лекарку и в ноги ей бух: «Спаси, – грит, – баушка, век за тебя Богу молиться стану. Всех докторов, фершалов объездил – никакого результату». Старушка эта любезно и спрашивает его: «А скажи, милый сокол, куришь ли ты табачок?» «Нет, – говорит, – не курю, милая бабуса, где уж мне, и без табаку впору на карачках ползать». – «А спал ли ты на покосе или на пашне один?» – снова спрашивает старушка. «Спал, баушка, спал, а зачем тебе это знать?» – «Тогда все ясно-понятно», – сказала лекарка и велела жарко баню натопить.

Натопили баню. Завалила старуха этого парня на полок – и ну парить, ну парить. Попарит, попарит да ковш ледяного квасу поднесет. И до того она парня искуделила, что он из сознания вышел. А когда в себя пришел – лежит на постельке, и так-то ему легко дышится, и совсем-то он здоровый. Давай он эту старушку благодарить, и в пояс ей кланяться, и спрашивать, что это за хворь у него была. Бабушка и говорит: «Сидела у тебя в брюхе змея. А залезла она тебе в рот, когда ты спал. Если бы ты табак курил, она бы не залезла – табаку змея не переносит. А так вот заползла и сосала из тебя кровушку, тварь гремучая. Ну теперь я ее выгнала оттудова и земле предала...»

– Фу-у ты! – тряхнул головою дядя Роман. – Видал хлопущ, слышал хлопущ, сам хлопуща, но такого, как Исусик, встречать не приходилось. Брешет, ястри его, ну просто, как пишет!

– Тебе чо, тебе все не так, – протянул Исусик, – все осмеешь, все сомнению предашь. А это истинная правда!

– Ну, если правда, тогда почему тебе змея в рот не заползает? Ты ведь тоже не куришь?

– Хэ, сказал! Я его, рот-то, трижды закрещу, прежде чем уснуть, а через крест не только змея, даже сам черт не перелезет.

Дядя Роман плюнул, со злом пнул головни. Упав в воду, они зашипели и поплыли, чадя последним дымком.

– Спать пора, – проговорил дядя Роман. – Этого остолопа не переслушаешь и не переспоришь.

Илька, у которого мураши по спине от страха ползали во время рассказа Исусика, помялся и ушел в барак, так и не поняв, правду рассказал Исусик или нет.

В бараке было душно, и братаны, а за ними и Исусик, с постели отправились спать на берег.

Когда все затихло, Илька шепотом спросил у дяди Романа:

– Дядя Роман, а ну как залезет Исусику змея в рот, что делать будем? Из одного котла едим. Может, крест-то не всегда действует?..

– Да-а, это верно, – рассудил вслух дядя Роман, и мальчишке показалось, что Дерикруп заколыхался от смеха. – А мы вот сейчас проверим, паренек, надеется на крестное знамение Исусик или нет. Посмотрим...

Приговаривая так, дядя Роман осторожно спустил с нар босые ноги, нащупал на стене легость, которую забрасывают с плота на берег во время учалки, и пошел из барака. Илька

двинулся за ним, поднялся и Дерикруп, любитель занимательных сцен и острых ощущений. Сквородник уже пускал носом свист с переливами.

Осторожно приблизившись к кусту, за которым спал Исусик, дядя Роман отошел, размотал легость и кинул ее через Исусика на поляну. Потом медленно потянул и стал сматывать бечевку легости на руку.

Илька уже понял, какую проделку хочет учинить дядя Роман, и зажимал рот ладонями. Бечевка шуршала в траве, ползла по одеялу Исусика, потом скользнула по его лицу, холодная, гладкая. Послышался вопль, Исусик выскочил из-за куста и начал истово креститься.

Дядя Роман, Илька и Дерикруп, давясь смехом, вернулись в барак.

– И когда вы уgomонитесь? – поднял голову Трифон Летяга. – Ты-то, дядя Роман, старый человек, а вроде дитя!

Через несколько минут появился Исусик с одеялом. Дядя Роман, позевывая, скучным голосом вяло любопытствовал:

– Чего вернулся?

– Да чтой-то прохладно стало, – отозвался Исусик и тут же притих.

– Змеи небось испугался?

– Чего мне змея? Мне стоит перекреститься...

Илька прыснул первый, за ним покатились Дерикруп и дядя Роман. Дерикруп даже кулаками по нарам колотил. Он всегда так самозабвенно смеялся.

Исусик слушал, слушал, видимо, догадался, в чем дело, выругался и с головой завернулся в одеяло.

Трифон, подавив смех, двинул Дерикрупа в бок и приказал:

– Да спите вы!

Уха

Шелковые нитки нашлись. В сундучке Дерикрупа отыскалось фасонистое шелковое кашне с красными полосками. От него отрезали две кисточки. Илька распорол угол подушки и вынул несколько рыженьких перышек. После этого он сел за стол и принялся делать обманки, или, как их еще называют, мушки. Сплавщики с любопытством наблюдали за его работой, дивились. Перышко, подрезанное и очищенное на концах, Илька продел в ушко крючка, обернул вокруг него и кончики прихватил ниткой. Эта нитка плотными рядками легла до изгиба крючка и пошла вверх, снова к ушку. Петельки постепенно образовали брюшко искусственной козьявки, а растопыренное перо было крыльями.

Илька не без форса бросил на стол самодельную мушку, и она пошла по рукам.

– Этот парень, братцы, не пропадет! – заверил сплавщиков Сквородник. Он хотел добавить еще что-то, подумал и брякнул: – Одно слово, сирота!

– Фокусник! Скажете, нет? – приставал ко всем восхищенный Дерикруп.

– Ловкач! – хвалили по-своему сплавщики.

Один Исусик засомневался:

– Как на деле покажет себя эта штука...

– Покажет, покажет!

– И язва же ты, Исусик, – вполголоса сказал ему дядя Роман. Мальчишка мастерит своими руками – пусть забава, а ему радость...

– Не забава... Не забава! – услышав это, вскипел Илька и выбежал из барака. – Вот увидите! Сами увидите!.. Сами!..

Продукты вовсе на исходе, а баркас так и не появлялся. Илька все еще чувствовал себя нахлебником в артели, лишним ртом и хотел чем-нибудь пополнить артельные харчи, внести свою долю.

Илька рыбачил прямо с плота. Мушка подпрыгивала и вертелась возле бревна. Илька слегка потряхивал удилице, будто мушка беспомощно билась, попав в воду. В узлом закрученной струе раздался шлепок, и мушка исчезла. Илька снял с крючка крупного хариуса и ловко бросил его в ведро.

– Вот те и забава!

Мальчишка потчевал сплавщиков ухой очень торжественно. Он принес котел, вынул ложки, объединенные, треснутые. Перед каждым мужиком положил кусочек бересты и вывалил по разваренному хариусу, а если попадались рыбины меньше – по полторы. Потом выловил уголек из котла, плеснул через плечо и важно пригласил:

– Давайте, мужики, подвигайтесь!

Подвязанный мешком вместо передника, с мазком сажи на лбу, потный и довольный, он похаживал вокруг стола. Сплавщики наперебой запускали ложки в котел, обсасывая рыбки косточки и хвалили Ильку.

– Постой, а сам-то ты чего не садишься? – спохватился Трифон Летяга, освобождая место на шаткой скамье.

– Ешьте, ешьте, я потом, – замахал руками Илька.

Так уж заведено в сибирских семьях: сперва накормить хозяина-работника, а хозяйке что достанется. Бригадир спросил у Ильки:

– Большая семья у бабушки была?

– Тринадцать дитёв, – сказал Илька и так внушительно, что всем стало понятно: «Тринадцать дитёв» – это не шутейное дело!

– Да-а, жизнь у твоей бабушки незряшная была, – протянул Трифон Летяга, – но подражать бабушке во всем не след. – Бригадир велел Ильке сесть за стол, разделил пополам свою рыбину.

Вечером, перед закатом солнца, Трифон Летяга с Илькой удили хариусов и снова разговаривали про дедушку и бабушку.

– Моя бабушка шуку ни за что есть не станет, – рассказывал Илька. – Хоть какую рыбу ест, а шуку ни в какую, ни Боже мой.

– Брезгует, что ли?

– Не-е, по леригиозным соображениям.

– Это как понять?

– Обыкновенно. У шуки в голове есть крест, из хряща крест, и бабушка считает, что есть рыбу с крестом нельзя, грех...

Илька замолк с таким видом, словно это бабушкино чудачество он снисходительно прощал. Помолчав, он сообщил как открытие:

– А я всякую рыбу ем. И в великий пост сметану с кринки пальцем слизал. За это бабушка меня антихристом назвала. Ага, антихристом. Она, ой, лютая, бабушка-то! Ой, лютая!

Трифон Летяга слушал Ильку, улыбаясь одними глазами. Он не мешал мальчишке вспоминать самое дорогое – дедушку и бабушку.

Вот едут Илька и дед с пашни. На телеге небольшой воз зеленой травы для скота. Конишка слабый, не может вытащить воз из лога. Дед распрягает лошадь, становится в оглобли и вытаскивает воз вместе с травой и Илькой на косогор. Потом неторопливо впрягает коня и, подъезжая к селу, роняет внуку: «В деревне-то не болтай».

– Скоро, скоро ты попадешь к дедушке и бабушке, – треплет по голове расслабленного от воспоминаний мальчишку Трифон Летяга и отправляется спать.

Илька сидит один на краю плота, забыв про удочку, и когда вынимает ее, мушка оказывается обдерганной до того, что видна лишь нитка.

– Дрыхнул бы побольше, так и самого съели бы.

Привязав другую обманку, Илька пустил ее по течению и снова затих.

Плот причалили под скалой, которая щербатым животом нависла над рекой. Под скалой уже темно. А сверху струится еще желтоватый отсвет зари и, ударяясь в камешник на той стороне реки, высекает из него слюдяные искры. Илья засмотрелся на эту слепящую суету искорок, на вздремнувшего не ко времени молодого кулика и оттого вздрогнул, когда впереди булькнул камешек. Мальчик поднял голову и замер: на самом краю скалы, в поднебесье, проткнув рогами полотно зари, стоял горный козел. За ним на почтительном расстоянии замерли козлушки. Козел надменно смотрел на плот и на Илью. Мальчик встал, и козы отпрянули вглубь, а козел не дрогнул и стоял все так же, подавшись грудью вперед.

Не успел мальчишка проводить стадо взглядом, как с неба в табун стрижей, спугнутых козами, ворвался сокол. Он ударил одну птичку, и на зорьке закружилась щепотка перьев. Стрижи завизжали еще яростней и ринулись на сокола, но он, спокойно, деловито помахивая крыльями, улетел в скалы.

Погасла зорька. Снизилась на реку темнота. Угомонились стрижи, спрятались в норки. Рокотала под скалой вода, и жалко поскрипывала упавшая сосенка, которую раскачивало, трепало течение, вырывая из расщелин корешок по корешку, обламывая хрупкие ветки.

Сплавщики раздевались, устраивались на нарах. В открытую дверь барака сочилась ночная стынь. Тонкими нитями в нее вплетались запахи иван-чая, багульника, ягоды черники и листвы, уже местами зажелтевшей.

На окне барака, словно заведенные, надоедно жужжали пауты и мухи. И окно, и дверной проем чуть отсвечивали от воды.

Как хорошо вытянуться, закинуть за голову гудящие от работы руки, несколько минут побыть наедине с собой и с этой тихой, обещающей крепкий сон ночью.

Но покой этот спугнула песня. Она звучала робко, вполголоса, как бы нащупывая себе дорогу в потемках. И все же голос крепчал, разрастался, отодвигал на стороны установившуюся было тишину.

Он был мальчишеский, этот голос:

Сяду я за стол да подумаю,
Как на свете жить одинокому...

Первый раз слышали мужики, как пел Илья, и боялись шевельнуться. Хорошо пел малый, тревожил сплавщиков, будил в них воспоминания, разжигал тоску по дому, по детишкам у тех, кто их имел. Он даже не пел – скорее думал.

Никто из мужиков не знал, что Илья затянул самую любимую бабушкину песню.

Долгожданный баркас

Вся жизнь на плоту смешалась, как только показался вдали баркас. Его тянули две лошади, а за кормовым веслом стоял мужчина и покрикивал. Нос суденышка шибко зарывался в воду, оставляя после себя мелкую волну и мутную полосу. Лошади шли по колено в воде там, где нависали кусты, а миновав их, выбирались на берег и облегченно фыркали. Коновод (он же киномеханик) с закатанными по колено штанами сидел на одной лошади верхом и время от времени покрикивал во все горло. Лошади прядали ушами и спокойно делали свое привычное дело.

Завидев плот, лошади туго натянули постромки и прибавили шаг. Они знали, что здесь уж точно будет остановка и отдых.

А с плота в семь голосов раздавалось:

– Жмите, милые! Подналяжьте! Ждем не дождемся!..

На баркасе, в корме, откидным барьером был отгорожен ларек. За прилавком хозяйничала дородная круглолицая сибирячка, известная по всей реке под именем Феша. На самом деле ее звали каким-то другим именем, в котором даже буквы «ф» не было.

Здесь же находился и кассир сплавной конторы, во время рейса исполняющий обязанности рулевого. Он выдавал зарплату.

Получка везде есть получка. Даже здесь, на плоту, она была праздником. Зажав деньги в горсть, сплавщики наседали один на другого, пытаясь продвинуться поближе к Феше, и говорили ей комплименты. Даже молчаливые братаны и те широко улыбались и придумывали сказать чего-нибудь веселое.

Феша похохатывала и отшучивалась. Между делом она была по рукам тех, кто переходил дозволенные границы.

Мужчины гоготали.

– Нам только и радости, что ущипнуть тебя, Фешенька. Уж потерпи, пострадай за опче-ство.

– Да у вас, у леших, ногтищи-то чисто багры, вся в синяках сделаюсь, пока по реке проеду.

– Ну-к что ж, такая ваша женская планида.

– Не увлекай мужиков-то, а дело делай, смутительница, – напустился на Фешу Исусик.

Продавщица зачерпнула из мешка медной тарелкой куски сахара и, ставя гири, отрезала:

– Чего раскудаhtался? За свою бабу не пугайся, она у тебя в мослах вся, а щиплют за что есть ухватиться, – и при этом Феша так повела своими пышными достоинствами, что мужики зашелкали от восхищения языками: «Корпусная баба!»

– На казенных-то харчах и моя бы раздобрела, – промямлил сконфуженно Исусик, но мужики уже не обращали на него внимания.

Они просились в помощники к Феше.

– Возьми хоть до Шипичихи, я те сахар нагребать стану и крупу, – приставал к Феше дядя Роман, – а то к нам на плот переходи, в полном достатке будешь!

Дерикруп, поддерживая просьбу дяди Романа, с выражением прочел:

...Мы, дети вольные эфира,
Тебя возьмем в свои края,
И будешь ты царицей мира,
Подруга вечная моя!..

– Во-во, царицей будешь, – подтвердили мужики.

Но Феша не соглашалась быть царицей и съездила тарелкой по голове Дерикрупа, пытавшегося шепнуть ей что-то на ухо.

Шум и гомон стояли в тот день на казенке. Все были в праздничном настроении. Мужики побрились, надели чистые рубахи, купили водки. Архимандрит забился под нары и не дышал. Ильяка, очутившись как бы не у дел, потерянно болтался по плоту, придумывал себе занятие.

Феша, узнав про Илькины дела, расчувствовалась и насыпала ему пригоршню леденцов. Когда торговля закончилась, она села возле весел поносных, – стала расспрашивать мальчишку. У Фешы был когда-то сын, но умер еще маленьким.

Спутанные лошади паслись на поляне. К вечеру овод схлынул, и они стояли, обнявшись головами, по привычке обмахивались хвостами и дремали.

Пока мужики получали продукты, пока суетились и говорили Феше всякую всячину, кинемеханик натянул на двух баграх, воткнутых в бревна, полотно, которое по всем видам было когда-то белое. На это полотно уставился одним глазом киноаппарат. Для регулировки под аппарат подложили поленья, чурки, обрезки, щепки. К ручной электродинамке тянулись облезлые провода.

И вот братан Азарий крутанул динамку, послышалось жужжание, щелк, треск, и на грязно-сером полотне появилось пятно, ровно бы иссеченное полосками дождя, а затем блеклые буквы. Все разом прочли:

– «Когда пробуждаются мертвые», – и тут же закричали друг на друга: – Ша! Про себя читать!

В это время киномеханик, стоявший на чурбаке и крутивший ручку аппарата, сделал резкое движение, аппарат качнулся, из-под него выпал чурбачок, и широкий луч метнулся выше экрана, на реку, на скалы, выхватил из темноты оцепеневшую осину. «Квя! Квя! Квя!» – заполошно вскрикнул черный дятел, спавший на дереве, и заметался из стороны в сторону, пока со сна не плюхнулся в воду.

– Тыфу, так твою растак! Все чего-нибудь не слава Богу! – ругались мужики.

– Не волнуйтесь, граждане! – привычно и монотонно завел киномеханик. Сейчас устраним неполадочку. А ну, малец, – обратился он к Ильке, который заворуженно глядел на машину, – подай-ка мне деревягу какую-нибудь.

– Подмена! – потребовал Азарий, все еще крутивший динамку, но подмена не торопилась.

– Покрути еще, по части, а может и больше, на брата должно обойтись, – сказали ему.

Азарий на ходу сменил уставшую руку, и динамка снова зажужжала ровно, усыпляюще.

Картина была немая, но страшно веселая – про бродягу, который ушел из родной деревни, а попы объявили его мертвым и вместо него схоронили церковное золото. Бродяга же взял и объявился. Попы испугались, давай откупаться от него, умасливать всячески.

Бродягу играл молодой Игорь Ильинский. Уже при одном появлении на экране его круглой плутоватой рожицы с дыркой на подбородке, с бровками-запятами, нечесаной головой, где всякая волосинка норвила торчать куда ей вздумается, сплавщики хватались за животы.

После того, как бродяга залез ночью к попадье, которая была не в курсе дела и твердо знала, что он мертвый, да сел на нее верхом и потребовал свое золото, мужики уже не смогли смотреть кинокартину, а только дрыгали ногами и тыкали один другого в бока. Когда кончилась часть, изнемогающие сплавщики попросили киномеханика пошабашить, чтобы колики в боках унялись. Однако киномеханик заявил, что ему нужно еще много участков обслужить, что его ждут.

В те годы киномеханики да шоферы были «фигуры» и здорово важничали.

Картина продолжалась. Конец у нее оказался грустным. Одурманенные попами деревенские люди все-таки схватили явившегося с того света и снова, теперь уже окончательно, повезли хоронить бродягу вместе с его крестом и домовиной.

– Ат, что делают! – ругались мужики. – Вот она, темнота-то, живую душу губят...

– Но как он на попадью-то, а? Попадья-то! Ха-ха-ха!

– Не, не, постой! – кричал Исусик. – А как он купаться пришел: рубаху долой, штаны расстегнул и смотрит на меня. Я думаю: «Неужто сымет?» А он ровно угадал мои думки, покачал головой и за камыш присел. И как токо власти пропущают такое охальство?!

– А потом!.. Нет, постой ты, – настаивал Гаврила, – а потом нырнул, а там, на озере-то, неводят, и попал он в сеть. А те, ха-ха-ха, таймень, должно, подумали, ха-ха-ха, ой, не могу!..

– И вместо тайменя бац из воды человечья рожа! – визжал Исусик. – Ну, ей-богу, комедь, ну, ей-бо... Придумают же!..

Весь остаток ночи па плоту только и разговоров было, что о кинокартине. Илька тоже насмеялся до судорог в животе и пытался вставить слово. Дерикруп взялся рассказывать, как снимаются кинокартины, но его все время перебивали.

Покончив со всеми делами и расчетами, гости с Усть-Мары утром после завтрака запрягли лошадей и поехали дальше – в редкие лесные поселки. Феша стояла на корме баркаса

и, пригорюнившись, смотрела на Ильку. Баркас исчез за поворотом. Издалека еще долго слышались щелчки копыт о камни и подстегивающие крики коновода.

Сплавщики курили тоненькие папироски, купленные по случаю получки, и сустились на плоту. Они готовились к гулянке, к традиционной попойке в честь все той же получки. Так уж на сплаве было заведено от века, и против этого никто, даже бригадир Трифон Летяга, пока не мог восстать, да его и не послушались бы.

Песня про чайку

Сплавщики бросили посреди плота дождевики, развели костер, открыли банки с консервами и нарезали колбасы. А Илька нащипал на берегу луку.

Гулянка началась. Началась она со строгостью и важностью, будто люди выполняли какое-то торжественное и очень почетное дело. Водку пили из кружек, отмеряя ее единственным стаканом, взятым с баркаса.

Сплавщики молвили: «Будем здоровы!», «Дай Бог не последнюю!», «Будем живы – под столом увидимся! Скажете, нет?» – и выпили разом по стакану. Закусывали вначале хрустким, как болотный хвощ, переросшим диким луком. Выпили еще по стакану с деловым молчанием, не произнося даже шутливых слов, и съели колбасу.

Не закусывал один лишь дядя Роман. Глаза у него сразу ожили, заблестели, и по дряблым щекам разлился жидкий румянец.

После третьего стакана мужики принялись хлопать себя по карманам, отыскивая папиросы. Братан Азарий натужно покраснел, вытягивая дым из папиросы «Ракета». Кончилось тем, что он шлепнул пачку с папиросами о бревно. Дядя Роман посмеивался, уютно посвистывая трубкой.

– Срамота, не курево, – сказал Азарий дяде Роману. – Дай-ка твоего крепачку.

И все, кроме Дерикрупа, побросали фабричные изделия, завертывая в бумагу благословенный, одобренный многими поколениями русских курильщиков самосад.

– Тютюнопожиратели, – усмехнулся Дерикруп, рассмешив мужиков незнакомым словом. – Вы любую благородную фирму под корень срубите таким зельем. Скажете, нет?

Мужики разом заговорили насчет самосада, который не чета всяким прочим табачным причудам.

Лишь некурящий Исусик блаженненько улыбался и выкрикивал:

– Вот тридцатку на выпивку убухал, и хоб что! Убухал ведь, братцы! И не жалею! За что работаем?

Но Ильке почему-то думалось: жалко Исусику денег, оттого он и трещит.

Трифон Летяга, поддевая пальцем тушеное мясо из банки, говорил братанам:

– Я за что вас уважаю? За трудолюбие!..

Сковородник, отворив рот, с любовью глядел на Трифона, на дядю Романа, на Дерикрупа, который уже перешел с табачной темы на искусство и стучал себя в грудь кулаком:

– Я люблю народ? Люблю! Я хохол? Хохол! Я добыю своего! О-о, я сыграю свою роль! Скажете, нет?

– Конечно, конечно, Гриша, – соглашался особенно добрый сейчас Сковородник. Илька только теперь и узнал, что у Дерикрупа есть имя.

Сплавщики пили, уже не закусывая. Ильке становилось жутко. Весь начальный порядок пошел насмарку. Всяк наливал себе и говорили все разом. Ильку тискали, как мячик, роняли на него слезы. Сковородник шлепал мокрой губой и рыдал, целуя его.

– Сирота ты несчастная... От многолюдствия все это, от многолюдствия! – неожиданно рывкнул он и стукнул кулаком по бревну.

Трифон Летяга, обнимая Ильку, грозился:

– За что парня били? За что пообидели? У-ух, я бы этого твоего отца...

– Я вижу все насквозь, все тонкости их знаю, и вот зачем я нынче не играю! – гремел трагическим голосом Дерикруп.

Ошалевший мальчишка переходил из рук в руки, будто кукла. Братан Гаврила настойчиво совал ему в руку кружку с водкой:

– Выпей, парень, выпей за свою и за нашу жизнь...

И все закричали:

– Выпей, Илюха, выпей! Ты тоже рабочий! Наша косточка! Пей!

Илька хватил глоток и очумело вытаращил глаза.

– Давай, давай! – научали сплавщики, но тут кто-то запел песню, и про Ильку разом забыли.

Он отскочил в сторону и хотел выплеснуть водку в реку, однако не решился. Хоть она и зелье, эта водка, а все же денег стоит. Илька отыскал старую банку, в которую накопал червей, да не успел ими воспользоваться, и осторожно вылил в нее водку. Кружку он незаметно поставил в круг.

Сначала недружно и врозь тянули сплавщики, потом распелись. И над притихшей рекой, между темнеющими берегами понеслась песня про чайку:

Не вейтесь, чайки, над морем,
Вам негде, бедняжечкам, сесть.
Слетайте в Сибирь – край далекий,
Снесите печальную весть...

И страшные пьяные мужики, грубые, чужие, разом сделались ближе, понятней.

Дядя Роман, Красное Солнышко, – поет, а по лицу его катятся крупные слезы. Рот его беззубый кривится, дрожит. И чудится Ильке, что этот никогда не унывающий бродяга устал и хочется ему тепла и покоя. Может быть, вспомнился старику молодой парень, который шагал по деревне и вызывающе напевал:

Я гуляю по ночам,
Не уважу богачам!
Я любому богачу
Р-рылю набок сворочу!

– «Ах ты, дядя Роман, дядя Роман, почто же ты так-то?» – Ильке всех жалко.

А песня про чайку вздымается все выше и выше. Чайки в этих местах не гнездились и пролетали где-то стороной. Илька никогда не видел чаек. Но раз про эту птицу сложили такую песню, значит, птица была красивая. Не будут петь о плохой птице так сердечно.

Говорят, чайка белая. Но этого цвета для такой птицы мало. Воображение Ильки окрашивает ее в яркие цвета, и летит чайка, как отблеск пламени, как длиннохвостая жар-птица, над высокими горами, над гремящими речками, над темными лесами к дедушке и бабушке.

И еще видит, как в такой же росный вечер бежит он из бани по огороду. С тяжелых листьев брюквы дробинами сыплется в опорки роса и колет ноги. Пахнет коноплей, пахнет огурцами, пахнет едучим навозным дымокурком. А вот и крылечко с проломленной ступенькой. Быстро шлепают раскисшие от росы опорки. Слышен бабушкин окрик: «Обутки сыми: мыто было».

На полу половики, от них доносит студеной прорубью. В избе пьянящий дух дрожжей. Бабушка заводит квашню, пробуя языком лопатку. На длинном, как нары, столе кринка парного молока – это для него, для Ильки. Кошка тянется уса́тым рылом к кринке. Бабушка раз

ее черенком по башке. «Не лезь! Не видишь, что ли, свое блюдо? А это ему, Ильке, приготовлено».

Нет, и до чего же он счастливый человек! У него есть дедушка и бабушка, и он плывет к ним, и они не знают. Медленно плывет. Люди его подобрали. Хорошие люди, очень хорошие. Они выпили, конечно, так что сделаешь, заведено такое. Зато как они поют! Как поют! Аж в горле щиплет. И до того жалко всех, ну, просто мочи нет.

И взревел бы, наверно, Илька по-бабы, в голос, да песня кончилась. Но долго еще летела чайка над водой, смахивая крыльями покой с гор, потом упала в какой-то распадок.

Грустная тишь.

Роились звезды над краем гор и над головою. Чуть слышно плескала Мара-река, словно бы расслабевшая от песни. Ночь, припорошенная седоватым лунным светом, слушала, как слушает строгая, но все понимающая мать то, что рассказали ей люди песней, и то, чего рассказать они не смогли.

Сплавщики сидели молчаливо, печально. И так бы они и разошлись спать, потому как водки больше не было, но Исусика подхватило запеть частушку:

Ох куда мы идем?
Куда заворачивам?
Один пинжак на троих,
В нем и запинжачивам.

Благость тихого вечера, музыка песни, до дна пропитавшие сплавщицкие сердца, были смяты.

Братан Гаврила, бес в котором сидел глубоко и просыпался только после литра принятой водки, с закипающим буйством уставился на Исусика.

– В рожу хошь?

Илька знал нравы пьяных мужиков и заранее припрятал багры, топоры и прочие тяжелые предметы. Исусик тоже знал эти нравы.

– Ну, спели, и славно. Сейчас, значит, еще споем, – и попытался обнять Гаврилу, но тот скинул его жидкие руки с плеч.

– В рожу хошь?

Никакая порядочная гулянка без драки не обходится. Илька даже был не прочь, чтобы Исусика отдубасили, но уж больно дик Гаврила, кабы не зашиб святошу, потом дяде Трифону отвечать придется. Илька нерешительно потянул за рукав братана:

– Дядя Гаврила, пойдем спать.

Гаврила изумленно оглянулся на Ильку, что-то трудно посоображал и, наверное, отстал бы от Исусика, но тот подлил масла в огонь.

– Экой ты, Гаврила, ндравнай! – сказал он, сострадательно покачивая головой.

Видимо, слово «ндравнай» Гавриле не понравилось, и он сгрел Исусика за тощую грудь так, что треснула рубаха и брызнули пуговицы.

Трифон встал между братаном и Исусиком, завидев, что сбоку к Гавриле уже пристраивается братан верховской – Азарий.

– Гаврила, драки не будет! – отрубил бригадир. – Станешь рыпаться – свяжем!

– Кого? Меня? – поразился Гаврила. – Да не родился еще такой человек, который меня свяжет. – Выпустив Исусика, тут же юркнувшего в барак, Гаврила попер на Трифона Летягу.

Бригадир мигнул. Гавриле дали подножку. Он больно стукнулся о бревно затылком и минут через пять был водворен на нары. Уже связанный по рукам и ногам, Гаврила все еще изумлялся:

– Кого? Меня-а?.. – Он так и уснул в полной уверенности, что нет еще на свете того человека, который бы осмелился связать его, низовского Гаврилу.

В темноте незаметно подкрался и покрापал дождь. Мужики один по одному потянулись в барак. Дерикруп, монотонно читавший весь вечер Сковороднику стихи и монологи, уснул в обнимку с ним прямо на бревнах. Илья попытался разнять их и перетащить в барак, но силенок у него не хватило, и он накрыл гуляк дождевиками.

Дядя Роман стонал и мучился во сне. Дышал он прерывисто, тяжело. Илья, прислушиваясь к его стонам, обливался холодным потом, боясь, что с дядей Романом приключится беда.

К утру дождь разошелся, смыл с бревен окурки, плевки и бумагу. Серое утро медленно наплывало из-за гор, не пробуждая природу, а погружая ее в еще более тягучий сон. Даже вестники утра – птицы, затянув пленками глаза, чутко дремали в недоступных крепях и в лапах густого пихтача.

Илья затопил печку, поставил варить лапшу. От печки пригревало, на улице шуршал дождь, неровно стекая по узонькому барачному окну. Мальчишка незаметно для себя уснул.

Голодный Архимандрит ползком выбрался из-под нар, подергал, на всякий случай, шишечкой хвостика и, не поборов соблазна, облизал ложку, зажатую в руке Ильки.

Хворь

Утром сплавщики поднимались трудно, кряхтели, вяло переругивались. Дерикруп окунал в воду клиновидную голову и, вытирая лицо платком, с безнадежной мечтательностью тянул:

– Сейчас бы яблочко кисленького або квасу...

Поели только братаны. Гаврила все утро шевелил пальцами и поводил плечами. Веревами ему сильно перетянули суставы. Но он никого не ругал и ни на кого не обижался. Что связали – дело обычное, само собой разумеющееся.

Трифон от еды с раздражением отмахнулся. Дерикруп тоже. А Сковородник хватил было ложки две лапши, но тут же побежал к воде.

Хуже всех выглядел дядя Роман. Под глазами у него набрякли темные мешки, переносица посинела, руки тряслись. При каждом шаге старик хватался за поясницу.

– Ты останешься, дядя Роман, – сказал Трифон Летяга. – Какой из тебя сегодня работник.

– Как так? – заерепенился Исусик. Он тоже кряхтел и морщился. – Все с похмелья? Все! Почему одному плешивому льгота?

– При расчете мы тебе выплатим за прогул дяди Романа. Доволен? Тогда бери свой камбарец и не вякай больше! – сердито бросил бригадир.

Молча один за другим потянулись сплавщики по берегу. И вскоре до Ильки, разводившего огонь, донесся привычный напев:

О-о-ой, да еще разок!

О-о-ой, да куме в глазок!

Дядя Роман с великим трудом уселся возле огонька. Трубку он по пьяному делу где-то обронил и безуспешно пытался сделать сигарку. Пальцы старика поплясывали, табак рассыпался.

– Не свернешь, Илюха? Барахлит сердчишко-то, ястри его, барахлит, – жаловался старик, потирая широкую, но уже запавшую грудь.

– Небось нельзя пить-то?

– Нельзя, Илюха, нельзя. Строго-настрога фершала запретили.

– А ты трескаешь! – укорил мальчишка старика и подал ему неумело склеенную сигарку.

Дядя Роман мучительно скособочился, наклонился к огню, достал сучок и прикурил от него.

– Слаб я, Илюха, ой слаб, – сокрушался старик. – При виде его, проклятого, и особенно при запахе все у меня поджилки задрожат, истома какая-то пойдет по телу и внутри жжение получится. Словом, полное затемнение рассудка... – Дядя Роман сплюнул тягучую слюну, утерся ладонью и продолжал тем же ровным, бесстрастным голосом: – Скажи вот ты мне сейчас: выпей, дядя Роман, и через час помрешь – и я выпью, потому как вся нутренность моя уже не в моей власти...

Илька слушал старика, насупившись. Он снял с таганка чайник, сыпанул в него пригоршню заварки, сходил в барак, принес слипшиеся леденцы, которыми угостила его Феша, и опять же голосом недовольной, но все-таки сострадательной хозяйки, понимающей до тонкостей все эти похмельные дела, буркнул:

– Попей чаю с конфетками, может, полегчает. Я его крепко заварил.

– Чаек – это хорошо, – согласился старик. – А конфетки ни к чему, конфетки ты сам мусоль. – Дядя Роман отхлебнул дрожащими губами из кружки и мечтательно молвил: – Мне бы сейчас, Илюха, хоть бы пару глотков на опохмелку, и я вмиг бы человеком стал.

Илька задумался. Ничего не сказав, отправился в барак, перебрал все пустые бутылки, но в них даже капли не осталось. Тогда мальчишка заглянул в банку, куда вчера выплеснул вино. Дождь наполнил ее до краев. Но из банки все-таки пахло водкой. Боясь обидеть старика или оскорбить, Илька несмело сказал, протягивая банку:

– Может, через тряпочку процедишь?

Ноздри у дяди Романа затрепетали.

– Ну-ка, ну-ка, чего у тебя там?

Дядя Роман заглянул в банку, небрежно побросал над ней крестики:

– Вот и все! Вот она, зараза-то, и улетучилась. Исусик говорит, что крест даже чертей запросто отпугивает. Да и апостол Павел в свое время изрек: входящее в уста не оскверняет, а только выходящее из уст. А апостол не чета нашему Исусику! В больших чинах, он уж зря трепаться не станет!

– Ты, поди, оттого и не матершинничаешь?

– А? Да нет, не оттого. Зачем обзаводиться еще одной худой привычкой, коли их и без того многовато. – С этими словами дядя Роман глотнул из банки и яростно крикнул: – Ожило, Красно Солнышко, ожило! Восходит оно на небеси...

Ильку мутило.

– А ну, парень, дай-ка мне какую-нибудь тряпицу. Бог, он, конечно, глазастый, но за каждой тварью не усмотрит. Иная тварь меж зубов в утробу проскочит, тем паче, что зубов у меня нет, то есть никаких преградительных застав...

Старик сквозь грязный платок дососал из банки остатки, поплевал, закурил, уже сам свернув сигарку, и внезапно встретился с брезгливым взглядом мальчика.

Дядя Роман как-то сразу приутих и после продолжительного молчания заговорил:

– Подлай я старикашка, Илюха! Подлай!

Мальчик не отозвался: он как раз подсаливал суп и принялся крошить на дощечке лук.

– Подлай, подлай. Размотал жизнь, по ветру попутному развеял. Суди меня Илюха, суди. И помни, как я вино с червями пил, никогда не забывай. Жизнь, она ровно большой город. В ней заплутаться – плевое дело. А чтобы не заплутаться, надо по центральной улице идти, по самой то есть магистрали. Я же всю жизнь по переулочкам. Нет, не всю жизнь. Сначала тоже по центральной ударился, да на ней свету много, видно тебя всего, со всеми, то есть, сучками. А закоулки, они манят, в них огоньки помигивают, в них песни поют, в них многое друг другу прощают... Ой, не ходи, Илюха, переулками, не ходи... Не слабей корнем, не слабей...

Слова старика озадачили и насторожили Ильку. Уж не рехнулся ли он? Нет, рассуждает хотя и пьяно, но вроде бы по порядку. Еще вчера Илька подивился, что этот веселый человек, забубенная голова, плакал пуще всех, когда пел, видать, дядя Роман так же, как и его мачеха, что-то неладно сделал в жизни. Неужели она, жизнь-то, вроде рубахи? Неужто и не заметишь, как ее износишь?

– Дедушка, ты бы поспал, отдохнул, – участливо предложил Илька старику. Он первый раз так назвал его, должно быть, из чувства сострадания. Впрочем, ни тот, ни другой этого не заметили. Дядя Роман уже пытался петь голосом, клокочущим от слабых слез.

Он безоговорочно подчинился Ильке, заполз на нары. Из открытого барака еще долго доносилось заунывное:

Не для меня придет весна,
Не для меня Дон разольется...

После обеда он молча собрался и пошел на работу вместе со сплавщиками.

Притихший было к утру дождь снова начал сеяться, трусить, заполняя все вокруг тонкой, рябющей паутиной. Сплавщики, кутаясь в брезентовые куртки и плащи, ушли по берегу, поднялись на яр и исчезли за поворотом.

Илька чувствовал себя неловко, оставаясь в теплом, сухом бараке. Он решил тоже одеться и сходить по ягоды. Сапоги у него были большие, мужицкие. Вместо онуч он обертывал ноги мешками из-под сухарей. Рукава брезентовой куртки Илька закатывал наполовину. С ведром в руке он вышел из барака, припер палкой дверь.

Постоял Илька, огляделся. Дождь расходился. Дальние увалы заволокло низко осевшими тучами. По реке плыли пятна пены. Появились на воде и первые желтые листья. Леса покорно смолкли, в заводях начали садиться на дно переплетенные космы тонких водорослей. Низко проносились реденькие табуны уток. Они, как говорят охотники, разминались перед большими перелетами.

Близилась осень. Сплавщики теперь дольше бывали дома. В темноте на сплаве не работаешь. Всей артелью грызли кедровые орехи, с прищелком жевали листовую серу, играли в шашки, перечитывали старые газеты и книги, обсуждали мировую политику и жену начальника сплавной конторы, мечтали о прибытии баркаса.

И вот эти-то длинные бездельные вечера бригадир Трифон Летяга решил обернуть на пользу.

Учителя и ученик

В один из дождливых вечеров, возвращаясь с работы, Трифон Летяга сказал Дерикруп:

– Отстал мальчишка от школы, ты подзаялся бы с ним. Все одно вечерами-то лоботрясничаем.

– Чего? – поднял на Трифона тоскливые глаза Дерикруп. В последнее время он заметно скис – видно, погода действовала на него.

– Занялся бы, говорю, с Илькой, кто его примет во второй класс после такого большого пропуска, а первый он уж перерос...

Дерикруп остановился и долго соображал, потом вдруг кинул багор, поймал его.

– Идея! Скажи, нет? – зачастил он. – Правда, ни учебников, ни тетрадей. Но, будь спокоен, я его своим методом.

– Ты только не фокусничай – предупредил Трифон Летяга. – Живой человек все же!

– Ты еще не знаешь, куда я годен! – возразил Дерикруп. – Ты еще убедишься, на что годен Гришка Крупподер.

После ужина Дерикруп веско приказал Ильке:

– Давай наведем гигиену на столе, и я начну с тобой занятия. С сегодняшнего дня ты – предмет народного образования.

Илька аж присел от неожиданности, мужики робко спросили у Дерикрупа:

– Это как понимать?

– Вам ничего понимать не надо. Ваше дело не мешать мне работать с учащимся и вообще создавать условия: освобождать помещение своевременно и так далее...

Еще никогда не говорил Дерикруп так важно.

Мужики, покачивая головами, стали один по одному покидать барак. Исусик, стоя на краю плота, кивнул на окно, где был виден долгошей Дерикруп.

– Он его научит в дырку калача пролазить либо на луну лаять, он ему преподаст науку...

– Ну, начала кила...

– Хватит, починяйте пока такелаж, чем языки обхлестывать, – заявил Трифон Летяга. – Багровищ вон кучу переломали – насадите. И наперед учтите – Дерикруп не шутики шутит, чтоб никаких...

А в бараке, подавленный важным видом Дерикрупа, сидел за столом Илька и пытался на пальцах отнять от двадцати семь. Пальцев не хватило, таблицу умножения Илька не знал. Ничего не отнималось и не прибавлялось.

Видя, как Илька с отчаянием шевелит пальцами и как быстро обрастает его рябой нос каплями пота, Дерикруп понял – он уже сделал какой-то педагогический просчет. Тогда студент важно покашлял в кулак и прошелся по бараку с задумчивым видом, чуть волоча ноги.

– Ну, ладно, арифметику пока отставим, – решил он, – давай начнем чтение, затем писать буквы. У меня вот завелись тут кой-какие книжки. – И «учитель» открыл свой чемоданчик, к крышке которого была пришпилена фотография.

На фотографии Илька увидел не то курятник огромный, из которого хлестала вода, не то заплот. Словом, чудное что-то. Дерикруп заметил, что Илька уставился на фотографию, щелкнул по ней пальцем:

– Днепрогэс! Слыхал, что это за сооружение и что оно в нашей жизни значит?

– Не-е. Откуда вода бьет пуще, чем на перекате...

– На перекате! – фыркнул Дерикруп. – Дикарь ты. Скажи, нет?

Илька оскорбленно выпрямился и засопел. А Дерикруп стал с жаром рассказывать о Днепрогэсе и об Украине, особенно о своей деревне Погорыбци, лучше которой не было на свете и едва ли будет когда. Илька диву давался, что на земле есть такие места, где яблок растет – лопай их от пуза, и никто ничего не скажет. Илька только раз в жизни пробовал яблоко, да и то половинку, когда был с бабушкой в гостях у какой-то золотозубой городской тетеньки. А Дерикруп вон говорит, яблоки – это чепуха, есть еще груши, виноград, сливы, кукуруза, бараболя, абрикосы, черешня.

И каких только фруктов не произрастает на этой самой Украине! Там, стало быть, и находится тот самый рай, о котором бабушка все время поминает в своих молитвах.

Илька с неподдельным изумлением произнес:

– Так почему же ты из этого рая смотался?

Дерикруп с минуту молчал, подыскивая подходящий ответ, но так ничего нужного и не нашел, а сказал, пожав плечами:

– Судьба. Батьку петлюровцы изрубили, мать в двадцать первом от тифа умерла, и я побрел по свету. До Сибири добрел. Учти: добровольно!

Лицо Дерикрупа сразу осунулось и посерело еще больше. Но вот он резко потряхнул головой и грохнул три книжки на стол:

– Во, Илька, тебе циркуляр науки. Одна книга под названием «Джек Восьмеркин – американец», другая «Рыжик» – это почти про нас с тобой, и, третья, третья... ну, эту мы пока повре-

меним читать, тут господин Золя описал, как парижская дамочка Нана с мальчиками дружила. Книга эта на холостых мужчин действует раздражительно. И хотя ты тоже мужчина, но в силу того, что в анкете твоей записал я – одиннадцатый год, пока что читать эту завлекательную книжицу воздержимся... – Дерикруп поднял палец, – из педагогических соображений!

Илька принялся списывать с книг слова. А Дерикруп снова прохаживался по бараку с заложенными за спину руками. Он играл учителя.

«Джек», – старательно вывел Илька и, уже исходя из собственной инициативы и сообразительности, дописал: «Сьюбака». Прочитавши это, Дерикруп захохотал было, но Илька сердито глядел на него и готов был кинуться в драку.

– Слухай, хлопец, – сказал Дерикруп нахохлившемуся мальчишке, – Джек это человек, понял?

Илька вышел из себя.

– Если взялся учить, так учи, а нечего!.. Что думаешь, уж вовсе ничего соображать не умею и собачьего имени от человеческого не отличу?..

Дерикруп захлопал белесыми ресницами.

– Га! Занятно! Вот так предмет! Как же я тебя, хлопец, учить буду? Ведь ты никакой методике не поддаешься?.. Никакой!

– Такая методика годна кобыле под хвост. По мне, взялся учить – учи взаправду, а надуть не надейся. Особенно насчет собак! Уж что-что, а собак я знаю. Вон у нас Осман...

– Так и тут неувязка, хлопчина, – почесал за ухом Дерикруп. – Османом тоже человека звали, турецкого султана, кажется...

– Чего-о-о?

– Султана, говорю, царя турецкого так звали.

– Айда-ко с худого-то места, – презрительно сощурился Илька.

И пришлось Дерикрупу весь вечер рассказывать Ильке про разные страны, и выходило так, будто есть на свете страны, где не только снега, но и зимы не бывает, и обезьяны по деревьям сигают хлеще белок, и разные звери бродят, а фрукты с голову величиной растут. Илька чему верил, чему нет. Однако слушать Дерикрупа было интересно, это нравилось мальчишке больше, чем считать. Больно уж надсадная наука – арифметика!

И на другой вечер «по методике» заниматься не удалось. Илька, весь вечер думавший про чудесную страну Украину, первым делом спросил:

– А Робинзон-то Крузо не у вас там жил?

И Дерикруп понял, что хватил лишку. Тогда студент принялся говорить об Украине по порядку, с доброй, от сердца идущей печалью.

Богатая, широкая земля. Вольные люди – казаки с вислыми усами. Синие вечера. Сады в белом цвету. Тарас Бульба с сыновьями. Черти, ворующие месяц с небес, чтобы пьяный кум в собственном селе заплутался. Все, все помнил Дерикруп, не утративший своего «хохлацкого» задора, не забывший голосистой песни.

Не удержался Дерикруп и затянул на радость Ильке:

Он на гори
Тай жинци жнуть...

Дальше петь Дерикрупу не пришлось, хотя песня была и по сердцу Ильке. Дверь распахнулась, и в барак ворвался бригадир Трифон Летяга.

– Не можешь без фокусов-то? Не можешь?

– А что такое? Мы это... историей занимаемся.

– Историей! Показал бы я тебе историю, если б бригадиром не был, – гаркнул Трифон Летяга и указал на дверь. – Выметайся вон из барака, пока я еще в горсти себя держу.

Сконфуженный «учитель», обиженно издохнув, покинул барак. Бригадир напустился на Ильку:

– Тоже певчая птица! Надо к школе готовиться, стараться, чтоб балбесом не стоять перед учителем, а он, видали, сказочки слушает, небось дважды пять не знаешь сколько, а туда же, за сказочками...

– Дважды пять будет десять, – обрадованно сообразил Илья, быстро перебравши пальцы под столом.

Трифон Летяга бросил кепку на стол и устремил взгляд мимо мальчишки.

– Ну, раз угадал, а дальше что? Дальше-то что? Допустим, дали тебе кило лапши на всю нашу артель и надо разделить это кило поровну. По сколько лапши на рыло надо кинуть?

Сколько лапши на рыло кинуть – Ильке оказалось определить непосильно, и потому он лишился всяческого покоя, потому что с самого того вечера Трифон Летяга буквально извел его арифметикой.

Идет, допустим, с работы бригадир и еще издали, как приветствие, кричит:

– Илюха! У нас было семь багров. Один багор ротозей Исусик утопил да два Гаврила поломал, поскольку для него всякий человеческий инструмент хрупкий. Так сколько багров к вечеру осталось?

Вот это был метод так метод! Все мужики включились в работу. Илья ходил все время начеку, готовый отражать неожиданные, заковыристые вопросы. Они задавались ему по мере того, как возникали в головах сплавщиков. Принес, к примеру, Илья охапку дров, затопил печку, и вот уже ему вопросик: «Сколько было в охапке поленьев? Сколько в печь сложил? Сколько осталось?» Задачи касались не только предметов – они в зависимости от настроения сплавщиков бывали и с ехидцей, и с политикой, и с солью.

Вот одна из них:

– На голове у дяди Романа осталось шестнадцать волосьев, а было тридцать четыре, половину из них девки шалые выдергали, остальные со страху упали, когда он партизанил...

– Ду-урень, ястри тебя, – добродушно отругивался дядя Роман. – Если хочешь знать, у меня шевелюра была во! – И старик приподнимал руку над лысиной чуть ли не на пол-аршина. – Помню, здесь же вот, у Ознобихинского перевала, мясорубка была, ох, и мясорубка! Меня тогда камнями чуть было не завалило...

Старик медленно набил трубку, раскурил и, глядя на темные, резко очерченные мгlistым оком утесы, начал рассказывать о командире Щетинкине, о том, какой это был отчаянный партизан и как заманил он отступающие отряды глупых колчаковцев на реку Мару и в неприступных местах на Ознобихинском перевале сокрушил своей хитростью недобитых беляков, которые еще надеялись отсидеться в лесах и даже организовать там свою отдельную республику.

История и арифметика, Украина и Сибирь, дальние страны и турецкий султан – они даже снились Ильке.

Ознобихинский перевал

У Исусика была необычная обувь – бахилы. Бахилы – легкая выворотная обувь с длинными голенищами, годная бродить в воде и в дальней таежной ходьбе. Голенища и переда у бахил выкраиваются из цельного куска кожи, подошва вшивается изнутри ворсистой стороной. Сооружение это делается просто, быстро, и оно очень распространено было прежде в Сибири. Кожа, хорошо пропитанная дегтем, воду не пропускает.

На рыбалке бродят не так уж часто, и всегда можно осушить бахилы, снова намазать их дегтем. Другое дело – сплав. Здесь иногда целый день приходится быть в воде, прыгать по

скользким бревнам. От этого бахилы начинают раскисать, становятся осклизлыми и не принимают дегтя.

Пока не наступила дождливая пора, бахилы Исусика были незаменимы. Но вот зарядили дожди, и бахилы стали похожи на огромных скользких жаб.

Дядя Роман смеялся:

– Тебе бы с твоими обутками в колхоз наняться, саранчу на полях давить, вот бы трудней отхватил!

Бригадир Трифон Летяга не раз говорил Исусику:

– Не канителься, возьми резиновые сапоги.

Исусик не брал сапоги. За них надо платить, правда, половину их стоимости, как за спец-одежду, а он дрожал за каждую копейку. Зимой на сплаве Исусик не работал, потихоньку выделял кожи, шил бахилы и продавал местным рыбакам. Не взял Исусик и брезентуху, а работал в какой-то бабьей латаной-перелатаной кофте.

Дядя Роман донимал Исусика насмешками насчет непомерной скупости, говорил, что тот за копейку удавится.

И не раз при этом добавлял:

– Я вот уже лет двадцать на расческах экономлю, а ничего не накопил.

Исусик на это презрительно отвечал:

– Такому ветродую и не скопить ни шиша! Такому всю Расею отдай, он и ее промотает!

– Да ну? – изумлялся дядя Роман и, многозначительно ухмыляясь, любопытствовал: – Тебе небось кажется, что Русь-матушка только такими и держится, как ты?

– А что ты думал?

Ознобихинский перевал – самое проклятое место на всей Маре. Народу здесь перетонуло видимо-невидимо.

Легенд и небылиц, перемешанных с былями, ходило среди местного населения насчет перевала множество.

Рыбаки спешили проскочить это, хотя и рыбное, но колдовское место. Охотники обходили его стороной.

Ознобихинский перевал тянется вдоль Мары. Вернее, Мара течет вдоль него. Левый берег лесистыми холмами подкатывает к Мере и полого спускается в воду. С левого берега можно брести до половины реки и не замочить пупка. У самых скал правого берега дно обрывается, и вода там такая студеная, что человека могут схватить судороги. Если кашлянуть – гул катится вдоль скал, отдаваясь громким эхом. Горы как бы отталкивают от себя все звуки, кроме одного, который они не в силах ни заглушить, ни оттолкнуть, – это шум Мары.

Восемь километров тянется стена из выщербленного ветрами, щелястого гранита.

Когда-то, давным-давно, прошел по Ознобихинскому перевалу пожар. Сгорело все до кустика. Даже земля, лежавшая в расщелинах и на террасках, выгорела. Сейчас на перевале нет ни одного живого дерева. Черные сучкастые остатки обгоревших лесин и высокие пни маячат на таких же черных скалах. Лишь кое-где виднеются плешинки мышастых мхов. На карнизах скал висят, как ласточкины гнезда, растения, по-здешнему – горная сарана, или дикая репа, на самом же деле карликовые кактусы.

В распадках так и сяк валяется обгорелый и оттого долго не гниющий листвяк и пихтач. Только березняк иструхлявился, развалился. У ручьев краснеют шапки цветов дикой примулы, а на трухе да на занесенной в расщелины пыли растет лишь кое-где травка да кустится тонкий малинник, потрескивает на ветру спутник всех пожарниц – кипрей.

Кипрей уже отцвел. Открылись его узенькие стручки, из которых порхнуло по щепотке светленького пуха. Ветер разносит этот пушок по голым скалам, скатывает в валики. Вережками свисают эти валики с камней, цепляются за обгорелые деревья, падают в реку, и кажется, что на Ознобихинском перевале все еще не затух пожар, распадки ущелья все еще дымятся.

Из дымка выползают змеи и клубками лежат на нагретых камнях.

Возле поворота, в узкой гранитной дыре, судорожно бьется речка Ознобиха. Бьется устало и озлобленно. Даже попав в Мару, она все еще беспокойно пошевеливает вспененным хвостом. И долго голубоватую змеей ползет Ознобиха по Маре, прежде чем в ней растворится.

Вечерней и утренней порой или в жаркий солнечный день, когда светловодную рыбу – хариуса, ленка и тайменя – одолевает водяной клоп, здесь слышен беспрестанный плеск, будто из пугачей стреляют. Хвосты тайменей раскаленными мечами рубят отливающую синевой струю Ознобихи. Хариусы, осатаневшие от клопиных укусов, сигают, бьются о воду.

Только поздней ночью затихают хлопки и всплески. И тогда явственно слышно, как дробно рассыпаются брызгами ключи, выбегающие из скал на верхних навесах, яростно хлопчет Ознобиха и ворчит заброшенная камнями, непокорная Мара.

Возле речки Ознобихи нет ни смородинника, ни черемушника. Она так же неприветлива, обнажена, как и скалы, родившие ее. Но, должно быть, в середине этих с виду мертвых скал, в темных тайниках, хранится что-то целебное. При выходе многих ключей накопились сероватые и ржавые наросты, похожие на березовую губу.

По-здешнему это называется каменным маслом. Рискуя жизнью, самые отчаянные знахари карабкаются на скалы, отколупывают каменное масло и пользуют им от всех немочей деревенский люд.

Мара виляла меж камней, торчавших то там, то тут из воды, прикидывалась тихоней, а потом, словно вспомнив о своем крутом нраве, вдруг сердито бросалась на скалы, с шумом била, как таранами, бревнами о камни. Бревна устрашающе гудели, образовывали тороса, набивались в расщелины, оседали на камнях и многочисленных перекатах. Только самые скользкие, самые юркие бревна проскакивали эти восемь километров, да и они выплывали из этой дыры побитые, с облупленной корой, с отколотыми ошепинами.

Ознобиха! Хорошо тем людям, которые могут проплыть мимо нее быстрехонько, не оглядываясь, а еще лучше тем, кто может обойти гиблое место стороной. Но сплавщикам этого делать нельзя. У сплавщиков возле Ознобихинского перевала самая трудная работа.

Каждый год к перевалу высылали людей на помощь молевой бригаде. А нынче их здесь почему-то не оказалось. Трифон Летяга все больше хмурился, но еще надеялся, что люди придут, и обнадеживал своих товарищей. Они ругались и кляли начальство, Ознобиху и всех, кто подвернется под руку. Всем хотелось поскорей отсюда выбраться.

С утра до позднего вечера слышался сплавщицкий напев у Ознобихинского перевала. И уже без шуток, присказок, которые, как звенья цепи, целый день вяжутся к незамысловатому «Ой, да еще разок!».

Шли дожди. Под скалами по утрам лежал застойный туман и кружились лепехи шипучей пены. Только к полудню туман поднимался по расщелинам и распадкам к самым вершинам. Но и в вязком тумане слышалось:

Он, да еще разок!
О-о-ой, да еще разок!

Катились с камней бревна, гулко сшибались, громыхая и бухая. Бестолковыми табунами кружились подле утесов, в суводях и водоворотах и снова напоздали одно на другое, образуя высокие тороса.

Подводные камни

Третий день казенка стоит на одном месте, там, где начинается Ознобихинский перевал. Он вздымается разом, без обычных мелких каменных быков, без скалистых обнажений, заве-

шанных космами мха и затянутых кустарником. Вот он встал, горбом подпер облака, непоколеблемый, великий, и вся округа с лесами, зелеными седловинами робко приникла к его подножью и несмело выкидывает полоски зелени на траурно-мертвый камешник.

Плот спустили метров на триста вниз, причалили к левому лесистому берегу. Ночью Ильке спать почти не пришлось. Он жарким смолем топил в сушилке печку и развешивал одежду сплавщиков.

Сплавщики ушли работать рано утром. Илька лег спать, а когда проснулся, дождя уже не было. Дул ветер, растеребливал ключья тумана, вплетал в него нити клейкого пуха. Потом туман рассеялся, и мальчишка увидел на другой стороне реки медведя. Он стоял посреди обгорелого валежника в распутившемся кипрее и с неприязнью смотрел на казенку.

Архимандрит бегал по плоту, но вдруг поднял голову, заметил медведя и сначала задом, а потом, как заяц, прыжками ринулся в барак под нары. Илька забренчал топором о ведро. Медведь ухнул и заковылял по скалистой расщелине вверх, треща валежником. На пути медведю попался горелый пень. Он трахнул по нему лапой и с интересом наблюдал, как одряхлевший пень рассыпался, кувыркаясь вниз, пока не шлепнулся в воду. С горы медведь еще раз оглянулся на плот, изо всех сил рывкнул для острстки и скрылся.

– Ишь ты, мохнозадый, в каком месте прижился! – произнес Илька, проводив медведя взглядом, а про себя со страхом подумал: «Что, если он переплывет реку да на плот влезет!»

Мальчишка проверил на всякий случай задвижку в барачке, она показалась ему ненадежной. И он пожалел о том, что сплавщики работают далеко от казенки, метр за метром очищая реку, метр за метром продвигаясь вперед по порогу.

Лес стоял на пороге плотно. Бревна громоздились одно на другое, выпирали на клешнятые утесы, стояли торцом, и ветер коробил на них сырую обшарпанную кору.

Илька пошел на берег собирать дрова и как бы ненароком добрал до бригады. Дождавшись перекура, он подсел к мужикам и рассказал им про медведя.

– Потревожили мы его, – сказал Трифон Летяга, – вот он и корчует пни. Страшает нас: дескать, смотрите, какой я громило, и убирайтесь. Ты его не бойся. Он зверь хотя и могучий, но людей боится – пальнуть могут. Откуда ему знать, что сплавщики одними камбарцами вооружены.

Исусик кряхтел, подвязывая ремешками расплывшиеся бахилы у щиколоток и под коленками. Всю ночь маялся с этими бахилами Илька, а высушить не мог. К печке близко их сунуть нельзя – коробит кожу, в стороне они не сохнут. И что человеку неймется! Взял бы сапоги и работал, так нет, он в мокрой обуви уходит каждый день, но спецовку не требует.

Покулив, сплавщики начали разбирать залом. Ниже гремел и бесновался порог, состругивая камнями ключья пены с обезумевшей реки.

А это был еще первый и не самый большой порог. Впереди, у нижнего мыса Оздобихинского перевала, сплавщиков ждал Ревун – самый сильный, самый страшный порог. Там скапливался лес, и там была громадная, почти непосильная работа.

Залом из бревен сплавщики не раскатывали, а долго щупали баграми, выискивали и, наконец, видимо, нашли бревно, которое, будто клин, держало всю сгрудившуюся древесину. Воткнув багры, мужики, мерно раскачиваясь, затянули:

О-о-ой, да еще разок!

Бревно медленно, сантиметр за сантиметром выползало, как заноза, из твердого тела земли. Вот показалась вершина бревна, мокрая, облепленная галечником, напоминающая узкую голову барсука.

Сплавщики запели сильней и дружней: «Взяли! Взяли! Взяли!» И разом дрогнул залом, затрещал, начал распадаться. Бревна плотом двинулись вниз, переворачиваясь, выныривая, ломая тонкие лесины, швыряя листовенные чурбаки.

Гул, скрежет, грохот! Сплавщики, словно акробаты, перепрыгивая с бревна на бревно, побежали на берег. Трифон, воткнув багор в толстую лесину, сиганул, как циркач.

И не зря же дана ему фамилия – Летяга!

Перебирая длинными ногами по бревнам, мчался Дерикруп.

Грузно шли один за другим братаны, взяв камбарцы под мышку, как это делают пешие люди во время ледохода. Провалишься – багор не даст уйти под бревна, послужит на долю секунды опорой, достаточной, чтобы выскочить из воды.

Спокойно и несуетливо уходил с бревен Сковородник – потомственный сплавщик. Губа у него уже не отвисала, а строго поджалась, весь он напряжился, подобрался. И никто бы не узнал в этом собранном, расчетливом в каждом движении человеке сонного, леноватого Сковородника.

Оскользя на бревнах, бежал Исусик и скороговоркой повторял: «Господи, спаси и сохрани!»

А бревна рассыпались и покачивались довольнехонько на вихрастых волнах.

Исусика относил. Но на это пока никто не обращал внимания. Дело привычное. Каждому из бригады за день приходится сотни раз прыгать по лесинам, обваливаться.

Работа на сплаве – это бой. Трифон Летяга только крикнул раздраженно:

– Багор! Баго-о-ор!

Исусик послушно сунул багор под мышку, перепрыгнул на толстое бревно. Это была листовень. Кору с нее содрало, осталась лишь скользкая, как мыло, заболонь. И тут подвели Исусика бахилы. Они коснулись осклизлого бревна. Самый момент оттолкнуться, перепрыгнуть, но подошвы бахил забуксовали. Исусик взмахнул руками, выронил багор, упал на бревно. Листвень и без того идет почти вся в воде, а тут и вовсе осела под тяжестью человека... Стала поворачиваться, и вдруг закружилось бревно, перевернуло человека, швырнуло головой в воду.

– Спаси-и-ите! – завопил Исусик, вынырнув.

Никто еще не успел ничего сообразить, еще крик Исусика не поднялся до скал, а Трифон Летяга уже птицей мчался на выручку. Он делал саженные прыжки, танцевал на вертящихся бревнах, перебирая ногами, и снова перепрыгивал. Вот он попал на толстое сосновое бревно, расколотое посредине, и начал толкаться багром, точно под ним был плот. Он догнал Исусика, ухватил его за шиворот, выдернул на свое бревно.

Но камни порога были уже рядом. Они выставили остро заточенные зубья, готовые щепать, рвать на куски все, что попадет. И тогда Трифон сбросил Исусика с бревна, сам прыгнул в воду, поймал утопающего и, коротко взмахивая правой рукой, ринулся в сторону от лесины. Спасительные, привычные сплавщику бревна сделались опасны. Попади между ними в пороге затискают, изомнут, растащат по кускам.

Люди бегали по берегу, ругались, махали руками, выкрикивали бестолковые советы. И вдруг ни с того ни с сего Дерикруп побежал по берегу, затем по бревнам поперек реки.

– Куда-а? Куда-а? – заорали все разом.

Братан Азарий с непостижимой для него проворностью сбросил куртку, сапоги и пустился догонять Дерикрупа, дядя Роман тормозил Ильку:

– Лодку, лодку-у! – Он хватался за сердце, семена по берегу к казенке.

Быстрый на ногу Илька обогнал его, прибежал к плоту, столкнул лодку и упал в нее. Он успел заметить, как Азарий догнал длинноногого Дерикрупа, схватил его и нырнул с ним под бревна. Лесины косяком пронесли над ними, Азарий потащил на берег нахлебавшегося воды Дерикрупа. Не знал еще Дерикруп, что самоотверженность без умения сама по себе ничего не стоит.

Трифона и Исусика уже не было видно.

– Дядя Трифон! Дядя Трифо-он! – захлебывался Илья, суматошно работая веслом.

Лодку потащило к правому берегу, где течение было мощнее.

– Дядя Трифон, дядя Трифон! – кричал мальчишка.

А впереди грохотал порог и бились о камни бревна, вставая свечой или исчезая в кипящей воде. Илья рванулся с лодкой к левому берегу, где сустились, бегали и кричали сплавщики.

– Туда, туда! – замахали мужики на порог, и мальчишка понял, что заворачивать к мужикам некогда, что дорога каждая секунда.

Стало быть, надо мчаться в порог одному.

– Дядя Трифон! – с отчаянием закричал Илья и оцепенел, заметив, что лодку начинает стучать бревнами и тащить на скалы. Илья затарабанил веслом, пропуская мимо мокрые, бешеные бревна.

С берега неся трубный голос Гаврилы:

– Илья, спокойней! Илюша, спокойно!

Да, надо было спешить, но спешить спокойно, иначе бревна притиснут к скалам, раздавят лодку в щепки.

– Левей! Левей!

– Милай, гляди, – долетел до Ильки голос дяди Романа, и по голосу старика мальчишка догадался: теперь уже бояться не только за Трифона Летягу, но и за него.

Однако не зря же Илья вырос на реке. Не зря он уже девяти лет ходил на шесте в лодке. Не зря же тонул раз двадцать и не утонул. Илья расталкивал бревна, направляя лодку меж камней, и внезапно увидел Трифона Летягу с Исусиком.

– Дядя Трифон, я чичас! – крикнул Илья, но никто не отозвался на его крик.

Вот у кого надо было учиться Дерикрупу умной самоотверженности – у бригадира. Затащив Исусика за камень, высунувшийся из воды, бригадир ухватился за выступ и висел в воде. Исусик намертво вцепился в него.

Трифон Летяга сквозь стиснутые зубы просил:

– Не души! Не души-и!

Бревна ударились об источенный водою камень и углом расплывались по сторонам. В воде болталась брезентовая куртка Трифона, волосы залепили ему глаза.

– Не души! – умолял, грозился и уже хрипел бригадир. – Не души!

Слабели руки Трифона Летяги, изнемог бы он и оторвался от камня, но левая нога нащупала что-то твердое, должно быть, другой камень, и Трифон уперся в него. Рядом он видел расширенные глаза Исусика. Ошалев от страха, Исусик пытался залезть на Трифона и топил его, тогда Летяга ударил Исусика ребром ладони по шее.

– Аа-а уб! – захлебнулся Исусик, хватив воды, и одна рука его беспомощно разжалась.

Трифон поймал его за волосы, из последних сил подтянул к себе и прижал податливую голову сплавщика под мышкой.

На это он израсходовал остатки сил. Мускулы слабели, в голове мутилось, пальцы соскальзывали с обжигающего камня. Он до крови закусил губу.

Все: небо, Мара, зеленый лес – уходят.

Темнота! Сил нет.

И вдруг неожиданный, тонкий, надорванный голос, в котором смешались боль и ужас:

– Дядя Трифон!

Бригадир открыл глаза: из-за камня летела лодка.

– На борт! – прохрипел Трифон Летяга, и мальчишка понял его, послушно навалился на другой борт лодки. Бригадир рыбиной метнулся к лодке, ухватился за нее одной рукой, а другой держал Исусика. Илья увидел на пальцах бригадира кровь, заметил, как свело их судоро-

гой. Он торопливо погреб мимо камней, мимо бревен. Струя повернула лодку, порог злобно швырнул ее к левому берегу, где метались сплавщики. Они побрели навстречу, подхватили лодку, людей.

Исусик не отцеплялся от Трифона Летяги. Тот с силой разнял его руки, отшвырнул и вытянулся на берегу, лежал на камнях, тяжело, с присвистом дыша. Рядом валялся мокрый, скомканный Исусик. Возле него хлопотали мужики.

Исусик медленно открыл тусклые глаза, оглянулся, сморщился и вдруг заскулил:

– Господи! Господи! За кусок за несчастный погибаешь! Да пропади он, этот сплав, эта река и все на свете! Господи! Мужики, ребра-то целы ли у меня? Господи! Шея, шея штось не вертится. Не ранета? Господи! Пресвятая богородица! Так вот, без причастия и погубишь душу. А голова? Голова как? – Он болезненно икал, корчился.

Трифон Летяга тяжело приподнялся, сунул два пальца в рот, и из него рванулся мутный поток. Потом он долго сморкался, зажимая то левую, то правую ноздрю. После этого бригадир принялся молча разуваться. Мужики виновато притихли.

Дерикруп лежал чуть в стороне, не привлекая к себе внимания. Его сильно ушибло бревном. Гаврила подошел к нему и глазами спросил: «Ну, как ты, горемыка?» Дерикруп так же взглядом отослал его назад: «Иди, дескать!»

Гаврила сочувственно покачал головой, глядя на изможденного студента:

– Дурень! Скажи, нет?

Гаврила вернулся к товарищам. Трифон Летяга молча отжал штаны, куртку, портянки и, разбросав их на камнях, снова лег, вытянулся.

– Надо бы руки перевязать, Трифон! – несмело подал голос дядя Роман.

– Чего? – не понял бригадир и посмотрел на руки.

На суставах ключьями висела кожа, пальцы кровоточили. Трифон Летяга откусывал крепкими зубами лафтаки кожи и, сплевывая их, зло бросил одно-единственное слово:

– Дохлятина!

И хотя он вовсе не смотрел на Исусика, все поняли – это о нем.

Исусик натужно икал и, то и дело вытирая с лица слезы, которые градом текли от удушливой рвоты, с перерывами вопил:

– Первый, значит, сигаешь с бревен, первый! А люди тони, да?.. Вот... Сгинул бы... Отвечал бы...

– Замри, ты! – замахнулся на него всегда сдержанный и молчаливый Азарий.

Трифон Летяга буркнул:

– Не тронь его, Зоря. Он в Бога верует и в копейку, почти что святой, – и сердито добавил, показывая на бахилы, из которых текла вода: – Если еще раз увижу тебя на работе в этих клоподавах, голову оторву!

– Сыму, сыму, будь они прокляты! Сыму. – Исусик тут же начал развязывать ремни.

Илька сидел рядом с Трифоном Летягой, и никто не обращал на него внимания. По лицу мальчишки текли слезы. Он размазывал их рукавом, старался негромко шмыгать носом. Отчего плакал Илька, он и сам не смог бы объяснить. Он и старался не плакать, но слезы все равно катились и катились. Наверно, оттого, что сейчас ему по-настоящему сделалось страшно. Илька тоже сшиб на суставах кожу, должно быть, о камни или бревна, когда их расталкивал, но боли не чувствовал.

Трифон Летяга внимательно поглядел на Ильку, взъерошил ему волосы:

– Ну а плакать-то зачем? Э-эх, ты!

Илька приник к нему.

– Утонул бы так... Вон моя мамка насовсем утонула... Не шутка...

Рука Трифона Летяги дрогнула, он с трудом прокашлялся, легонько отстранил Ильку от себя и начал рывками обуваться, наматывая мокрые портянки. Обулся, встал.

– Ну, хватит сидеть, работа не ждет! Ты, – повернулся он к Исусику, – айда в барак, отлежись.

– А сам-то как же? – с поддельным участием спросил Исусик и быстренько начал собираться, соображая, уж после такого бедствия не обидят и за этот день насчислят ему зарплату, как и всем.

Бригадир зябко поежился, со свистом втянул воздух синевшими губами и сказал, ни к кому не обращаясь:

– Вылакали вот водку! Сейчас бы стакашек не мешало. – И пошел впереди бригады, немного косолапый, кряжистый и строгий.

Люди двинулись за ним и принялись работать, разбирать следующий залом. И снова понеслась над рекой песня, и снова, бухая о камни, перевертываясь, сшибаясь, поплыли бревна вниз по реке.

Работа, работа, работа...

В сушилке

В сушилке плавал пар. Было жарко и душно. Илька часто выскакивал на улицу и тряс подол рубахи, чтобы охладиться. Чугунная печка с продырявленным коленом сердито гудела и выбрасывала черный дым. От стены до стены сушилки на скобах лежали закопченные жерди, и на них топорщились задубевшие под дождем брезентовые штаны и куртки сплавщиков. Постепенно они просыхали, делались мягче. Вокруг печки на чурбаках лежала обувь и колыхались от жары проношенные до дыр холщовые портянки.

Пахло смольем и гниющим сеном. Сено сплавщики клали вместо стелек в сапоги. Но запах пота забивал все остальное. Сушилась рабочая одежда, а она всегда и всюду пахнет потом.

Ильку долил сон. Стоило ему присесть, сложить руки на коленях, и голова сама валилась на грудь. Илька встряхивался, выскакивал на холодок и макал голову в воду.

Спать нельзя. Нужно к утру высушить всю одежду. Для этого необходимо шуровать и шуровать печку.

Гудит печка, фукает в дыры пламенем смолье. Тут уж смотри в оба. Затлеет портянка, обуглится – и разом займется оплывшая смолой постройка. Спать нельзя! Нельзя оставить сплавщиков без спецодежды.

Медленно возвращаются мужики с работы. Идут, растянувшись цепочкой, молчком прислоняют багры к стене барака и валяются в мокрой одежде на нары. Илька только теперь и заметил, что сплавщики часто пошевеливают пальцами, стараясь разжать их. Но пальцы судорогой собирает в кулак.

Илька робко и сочувственно наблюдает за поверженными усталостью мужиками, боясь предложить им еду.

Трифон Летяга не залезает на нары, должно быть, страшится, что ляжет и не подыметься до утра. Он минут десять сидит на пороге барака, вытянув ноги и уронив руки. Потом обводит ввалившимися глазами товарищей и мрачно роняет:

– Мокрую одежду снять! Всем обмыться в реке. Ужинать – и на отдых!

Мужики с кряхтеньем встают, пощелкивают суставами. Один Исусик делает вид, будто ничего не слышит.

– Тебе особую команду подавать?

Исусик брюзжит, сползая с нар:

– Чисто фетфебель, этот Летяга! Пристанет как банный лист, – и, обозлившись окончательно, завывает: – Сам хлещись в реке! Я и так целый день в воде прею, как мочало. Игрушкино дело...

Но он все-таки раздевается и для вида плещет себе в лицо. Трифон Летяга, искоса наблюдая за ним, кивает головой на воду:

– Столкну с казенки!

Исусик окончательно выходит из себя, принимается громко пушить всех на свете, не трогая только Богородицу, но до пояса все же обмывается.

После этого мужики вяло ужинают и ложатся спать. Засыпают они разом, и, кроме дяди Романа, никто ночью не ворочается.

Илька с предосторожностью, совершенно излишней, ходит на цыпочках по бараку. Он собирает мокрую одежду, гасит лампу и отправляется на всю ночь в сушилку. За ним семенит лохматая собачонка. В углу сушилки брошен клок сена, и Архимандрит нежится всю ночь в тепле. Ильке немножко веселей, когда собачонка здесь. Все-таки живая душа.

Мальчишка то и дело пошевеливает одежду, переворачивает ее с одной стороны на другую. Сначала высыхают портянки, затем штаны и куртки. Он мнет их, чтобы они были хоть немного помягче, и складывает в угол. К утру на жердях остается все меньше и меньше штанов и курток. Илька накладывает в печь сырого березняка – чапыги и садится на дрова. Теперь можно и подремать, однако постоянная боязнь, что спечовки могут загореться, не дает ему заснуть надолго. Он то и дело вскакивает, обводит глазами темную сушилку.

Тишина. В открытую дверь видно отливающую свинцом реку. С гор тянет стынью. В небе громоздятся тучи, и сквозь них не проглядывает ни одной звездочки – к утру опять пойдет дождь. Внизу под бревнами плещется вода. Плот слегка покачивается и скрипит. Плот давно на воде. Он уже глубоко осел. Кора на бревнах сопрела. На плоту постоянно пахнет вином. Это от коры. Запах сладкий. Он щекочет в ноздрях, и, наверно, от этого запаха все мутится в голове и клонит ко сну.

Сварить бы чего-нибудь мужикам вкусного. Киселя? Ягод набрать и сварить киселя. Но что кисель? Это Митькина еда. Как-то он там, сопленосый, поживает? Вот тайменя бы поймать да каждому сплавщику по здоровенному куску сварить, тогда бы у них силы прибавилось. Но на удочку тайменя не вытащишь. Он, подлец, так хватит, что вместе с удочкой с плота свалишься. Да и уходят таймени под лес.

А лесу у Ознобихи стоит много. Всю реку перегородили бревна. Справятся ли мужики? Устали они. И дядя Трифон устал. Челюсти у него заострились, нос больше сделался, глаза запали и помутнели. Дядя Роман тайком от всех чем-то натирает поясницу. Забежит в сушилку и натирает. Илька все видит. Но разве он скажет про дядю Романа? Ему труднее всех.

Скрип, скрип, шлеп, шлеп... Щелк! Скрипят бревна, шлепает вода, постреливает печка. Хорошо! Теплынь. Ночь. Опустил Илька голову. Губа у него отвисла, и слюнка выкатилась. Уснул хозяин казенки, уснул в полной уверенности, что только ему живется в артели легко.

Снится Ильке дом, братишка Митька снится. А может, так, в полудреме видится Ильке дом. Вчера прошла сверху казенка, уже без продуктов, без водки, и кино было спрятано в железные колесики. Феша потчевала Ильку мятными пряниками. Он долго мялся, но не выдержал, спросил:

– Как там у нас, дома-то?

Феша удивленно поглядела на Ильку, затем положила руку на его голову.

– Болит сердчишко-то, што ль, о доме? – И сама себе ответила: – Какой же это дом? Пришла я к твоему папаше с мамашей, а они блины пекут. Обрадовались, когда я рассказала, что ты на казенке. Думали, ты утонул, и боялись, как бы им за тебя не влетело. Но теперь успокоились. Плохие люди. Только и родни у тебя там – малыш Митька. Он-то все еще кличет тебя. А те, – Феша махнула рукой, – лучше тебе без них будет...

Ильке снится дом. Неприветливый, вроде бы чужой, а все-таки дом. И мачеха снится. Что знает о ней Феша? Разве она знает, как коротали вместе страшную зиму мачеха и Илька? У нее тоже где-то глубоко, глубоко, будто в загнете угли, подернутые пеплом, хранятся добрые

чувства. Она их никому не выказывает. Видимо, стесняется. А отец – кисель. Так его называла бабушка. Жидкий кисель, потому что он бесхарактерный: бабе поддается.

Снится Ильке кисель, сладкий, черничный. Этим киселем Илька кормит малого братишку. Митька дурачится, выталкивает языком кисель изо рта. Илька шлепает баловня ложкой. На лбу у Митьки остается черная звезда. Смешно Ильке, смешно Митьке. Оба хохочут, но хохот почему-то переходит в лай. Что такое?

Илька открывает глаза.

В открытую дверь сушилки ползет утро и промозглая сырость. Печка прогорела. Только под серым пеплом еще тлеют угли. Архимандрит высунул голову из сушилки и лает.

– Чего ты, Кабздох? – спросил у собачонки Илька. Он так и зовет ее с самого начала, не признавая громкого и святого имени, которым нарекли приبلудную сучонку сплавщики. Архимандрит, заслышав голос Ильки, залился пуще прежнего.

Вдали звякали кованые шесты. Мальчишка поспешно вышел из сушилки. По пологой стороне Мары на лодке поднимались двое. Они разом выкидывали белые шесты, делали резкий толчок, и, зарываясь носом, легкая долбленка устремлялась вперед.

Бородатый мужик, перепоясанный патронташем поверх телогрейки, выдернул нос лодки на плот и басовито приветствовал Ильку:

– Здорово, парень!

Архимандрит выходит из себя. Илька цыкнул на него и ответил на приветствие.

– Где бригадир? – спросил чернобородый.

А молодой чернявый парень, должно быть, сын приплывшего мужика, отвязал бечевку, с помощью которой перетягивал лодку через затор.

Илька повел мужика в барак и потрянул за ногу Трифона Летягу. Бригадир разом вскинулся, произнес сонно:

«А?» – и стал продирать глаза. Приглядевшись, он подал руку мужику:

– Здорово живем, Прохор! Что, за орехами вверх?

– За орехом. Да и пострелять собираемся маленько, – ответил Прохор, вытаскивая из кармана письмо, завернутое в серый носовой платок. – Вот тебе от начальника сплавной конторы.

Трифон взял письмо, положил его рядом с собой на нары и, тут же просовывая ноги в штаны, отдал Ильке распоряжение:

– Свари-ка чаю.

Илька принялся разжигать таганок на плоту. Прохор расположился возле стола. Приняв от Трифона кисет, он поинтересовался:

– Чей парнишка? На обличье знакомый!

– Верстакова.

– Павла?

– Его.

– Нагрезил что или пустил все-таки папа сына в беспризорники? – Прохор покачал головой. – Вот скажи ты: охотник на всю округу знаменитый. Не боится ни тайги, ни черта, а дома...

– Сопля!

Прохор хотел что-то возразить, но придержал слова, увидев, что бригадир принялся читать письмо.

«Приветствую вас, товарищ Летяга, и всю вашу бригаду, – писал начальник сплавной конторы. – Надеюсь, что живы-здоровы. Последние сведения от вас я получил из Верх-Мары, и, по моим подсчетам, сейчас вы уже должны подходить к Ознобихинскому перевалу. Вы, вероятно, удивились и рассердились, не обнаружив там людей. Дело в том, что рабочие, какие есть

в моем распоряжении, все до единого заняты на сплавном рейде. Сами знаете, что паводок нынче мал и дожди пошли поздно. Заморозки же ожидаются ранние, и на большой осенний паводок рассчитывать нельзя. Деревообделочный комбинат уже пущен на полную мощность. Он получил срочный заказ от строящегося на Урале металлургического завода. На нас жмут. Мы здесь работаем уже в три смены. Работаем и ночью при электрическом свете. Да, да, у нас в поселке уже есть электричество! И все же мы не полностью обеспечиваем комбинат древесиной. Сильно она у нас нынче обсохла. Нам обещают прислать трактор, чтобы вытягивать из торосов бревна. Но пока его нет. И людей нет. Я крепко надеюсь, товарищ Летяга, что вы справитесь со своей бригадой у Ознобихи. О трудностях не говорю, знаю, что трудно. Трудно, но нужно. Мы увеличили количество пикетных постов, и ниже вести лесозачистку вам будет все-таки легче.

Передайте вашим товарищам, что все дома у них в порядке, дети здоровы. Премия за успешное прохождение верх-марских порогов всей бригаде начислена. Думаю, и у Ознобихи не подкачаете.

Вас поздравляю отдельно – с кандидатским билетом! На днях приезжал из города работник крайкома и велел направить вас в город, как только вы вернетесь, за получением билета. Нынче у нас откроется вечерняя школа, и нужно будет вам обязательно учиться. Но об этом поговорим при встрече. А пока еще раз поздравляю и надеюсь на вас вдвойне!

Крепко жму всем руки.

20 сентября 1935 года».

– Дипломат! – хмуро обронил Трифон Летяга, глядя на размашистую подпись начальника сплавной конторы, и тут же, перестав хмуриться, весело заорал: – Подъем!

– Чего хайлаешь? – загудел в углу Исусик. – Полегче нельзя? – И, заметив приезжего, зевнул. – Поклон Прохору Зырянычу! Как там мои? – Не дожидаясь ответа, пожаловался: – А я вот третьево дни чуть не ушел ко дну. Чуть не утоп!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.